

КНИГА V

Мы дошли уже до последнего акта юности, но мы еще не при развязке.

Не хорошо человеку быть одному. Эмиль — человек; мы обещали ему подругу, — и нужно дать ее. Подруга эта — Софи. В каких местах ее убежище? где нам найти ее? Для того чтобы найти, нужно знать ее. Узнаем прежде, какова она, — и нам легче будет разведать местность, где живет она; а когда мы найдем ее, это будет еще не конец делу. «Так как наш юный джентльмен, — говорит Локк, — готов уже жениться, то пора оставить его при его возлюбленной». И затем он кончает свой труд¹. Что же касается меня, то, не имею чести воспитывать джентльмена, я вовсе не хочу подражать в этом случае Локку.

Софи, или Женщина

Софи должна быть женщиной, как Эмиль — мужчиной, т. е. должна обладать всем тем, что свойственно организации ее рода и пола, — для того чтобы занять надлежащее место в физическом и нравственном строе. Исследуем же прежде всего сходства и различия между ее полом и нашим.

Во всем, что не касается пола, женщина есть тот же мужчина: у ней те же органы, те же потребности, те же способности; машина построена по одному и тому же образцу, части в ней одни и те же, ход одной — все равно что ход другой, внешний вид одинаков, и, в каком бы отношении мы их не рассматривали, они отличаются между собой только по размерам действия.

Во всем, что касается пола, между женщиной и мужчиной всюду есть соотношения и всюду различия: трудность сравнения зависит

от трудности определить, что в организации каждого из них связано с полом и что не связано. При помощи сравнительной анатомии и даже при простом осмотре мы находим такие общие отличия, которые, по-видимому, не связаны с полом; на самом же деле они связаны с ним, но такою связью, которую мы не в состоянии подметить. Мы не знаем, до чего эти связи могут простираться; мы достоверно знаем только то, что все общее в них относится к роду, а все, что в них есть различного, относится к полу. С этой двойной точки зрения мы находим между ними столько соотношений и столько противоположностей, что, быть может, это одно из чудес природы, что она могла создать два существа, столь похожих, наделив их столь различною организацией.

Эти соотношения и различия должны влиять на нравственную сторону; вывод этот сразу бросается в глаза, оправдывается опытом и доказывает тщетность споров о преимуществе или равенстве полов, как будто каждый из них, стремясь, сообразно со своим особым назначением, выполнить цели природы, не является в этом отношении более совершенным, чем в том случае, если бы он больше походил на другой! В том, что у них есть общего, они равны; в том, что у них есть различного, они не поддаются сравнению. Совершенная женщина и совершенный мужчина так же не схожи должны быть и умом, как лицом; совершенство не знает степеней.

При единении полов оба они равно содействуют общей цели, но не одинаковым способом. Из этого различия рождается первая осязаемая разница между нравственными отношениями того и другого. Один должен быть активным и сильным, другой пассивным и слабым; необходимо, чтобы один желал и мог, и достаточно, чтобы другой оказывал мало сопротивления.

Раз установлен этот принцип, то из него следует, что женщина создана специально для того, чтобы нравиться мужчине. Мужчина в свою очередь должен нравиться ей, но это уже не столь безусловная необходимость: достоинство его заключается в силе; он уже тем одним нравится, что силен. Это не закон любви — я согласен с этим, но это закон природы, который предшествует самой любви.

Если женщина создана для того, чтобы нравиться и быть подчиненной, то она должна сделать себя приятною для мужчины, вместо того чтобы делать ему вызов; мощь ее заключается в ее чарах; ими-то она и должна принуждать его, чтобы он почувствовал свою силу и воспользовался ею. Самое верное средство возбудить эту силу заключается в том, чтобы путем сопротивления сделать ее необходимою. Тогда к вожделению присоединяется самолюбие и последнее празднует победу, которую первое помогает ему одержать ее. Вот источник

нападения и защиты, смелости одного пола и робости другого, наконец, той скромности и стыдливости, которыми природа вооружила слабого для того, чтобы поработать сильного.

Кто может думать, что она тому и другому полу предписывает делать совершенно одинаковые шаги к сближению и что, у кого раньше появляются вожделения, тот первым должен и обнаруживать их? Какое странное извращение суждения! Раз выполнение дела ведет к столь различным для того и другого пола результатам, то естественно ли, чтобы они с одинаковою смелостью предавались этому? Как не видят, что при столь большом неравенстве ролей в общем акте, если б осторожность не внушала одному полу умеренности, как другому полу внушает ее природа, то в результате скоро оказалась бы гибель их обоих и род человеческий иссяк бы благодаря средствам, которые даны для его сохранения? При той легкости, с какою женщины разжигают свои чувства и пробуждают в глубине своих сердец остатки почти заснувшей страсти, если бы была на земле такая несчастная страна, в которой философия ввела бы подобный обычай, особенно в жарком климате, где женщин рождается больше, чем мужчин, то последние, измученные женщинами, оказались бы наконец их жертвою, обреченною на смерть, без всякой возможности от них защититься.

Самки животных не отличаются такою же стыдливостью, но что же отсюда следует? Такое ли у них беспредельное вожделение, как у женщин, для которых эта стыдливость служит уздою? Вожделение является у них только вместе с потребностью; потребность удовлетворена — и вожделение проходит; они не из притворства * уже отвергают ухаживания самца, а взаправду; они делают как раз обратное тому, что делала дочь Августа ², и не принимают пассажиров, когда судно имеет уже свой груз. Даже когда они свободны, время склонности у них бывает коротким и скоро преходящим; инстинкт и толкает их, и останавливает. Чем будет восполняться в женщинах этот отрицательный инстинкт, если вы отнимете у них стыдливость? Ожидать, что они не станут помышлять о мужчинах, — значит ждать, пока эти последние станут ни на что не годными.

Высшее Существо желало во всем поддержать достоинство рода человеческого; даруя человеку склонности без ограничения, Оно в то же время дает ему закон, регулирующий эти склонности, чтоб он был свободен и распоряжался над самим собою; отдавая его

* Я уже заметил, что отказы из жеманства и кокетства свойственны почти всем самкам, даже в среде животных и даже в том случае, когда она наиболее расположена сдаться; кто хоть раз видел их уловки, тот не может не согласиться с этим.

в жертву неумеренным страстям, Оно присоединяет к этим страстям разум для того, чтобы управлять ими; отдавая женщине во власть беспредельных вожделений, Оно присоединяет к этим вожделениям стыдливость с целью сдерживать их. В добавок Оно дает еще немедленное вознаграждение за надлежащее пользование своими способностями — я разумею любовь к добропорядочности, возникающую в том случае, когда эту последнюю мы делаем правилом для своего поведения. Все это, мне кажется, гораздо выше инстинкта зверей.

Итак, разделяет человеческая самка вожделения мужчины или нет, хочет ли их удовлетворить или не хочет, она все равно отталкивает его и защищается, но не всегда с одною и тою же силою, а следовательно, не с одинаковым и успехом. Для того чтобы нападающий оказался победителем, требуется, чтобы подвергающийся нападению позволил ему или заставил это сделать, — а сколько существует ловких средств для того, чтобы вынудить у нападающего употребление силы! Свободнейший и приятнейший из всех актов не допускает реального насилия: этому противятся природа и разум, природа наиболее слабому дала ради этого столько силы, сколько нужно ее для сопротивления, в случае желания; а для разума реальное насилие является не только самым скотским из всех актов, но и совершенно противоречащим намеченной цели, — потому ли, что мужчина в таком случае объявляет войну своей подруге и дает ей право защищать свою личность и свободу, не щадя даже жизни нападающего, или потому, что женщина одна бывает судьей положения, в котором она находится, и ребенок не имел бы отца, если бы всякий мужчина мог захватывать у нее права.

Таким образом, третьим последствием организации полов является то обстоятельство, что сильнейший бывает по внешнему виду повелителем, а в действительности зависит от слабейшего, и это не из-за пустого обычая, обусловленного вежливостью обхождения, и не из-за гордого великодушия, свойственного покровителю, а по неизменному закону природы, которая, давая женщине больше способности возбуждать вожделения, чем мужчине — удовлетворять их, ставит последнего, вопреки его желаниям, в зависимость от доброго расположения первой и принуждает его стремиться, в свою очередь, к тому, чтобы нравиться ей, с целью добиться, чтоб она позволила ему быть сильнейшим. Самой приятной для мужчины стороной в этой его победе является сомнение, слабость ли тут уступает силе или, наоборот, сдается добрая воля; а обычная хитрость женщины в том и состоит, что она старается оставить это сомнение нерешенным. Ум женщины совершенно соответствует в этом отношении их организации: вместо того чтобы краснеть за свою слабость, они

хвалятся ею; их нежные мускулы неспособны на сопротивление; они нарочно представляются беспильными поднять самую легкую тяжесть: им было бы стыдно быть сильными. Чем это объясняется? Это объясняется не только желанием казаться деликатно сложенными, но и более ловкою предосторожностью: они исподволь припасают для себя извинения и право быть слабыми в случае нужды.

Расширение круга познаний, приобретенных нами через порок, сильно изменило в нашем обществе старинные мнения относительно этого предмета, и о «насилиях» не говорят больше с тех пор, как они стали столь ненужными, а мужчины перестали им верить *; меж тем они очень обычны в глубокой древности, у греков и евреев, потому что самые мнения эти связаны с простотою природы и только испытанность в разврате смогла искоренить их. Если в наши дни приводят меньше актов насилия, то, конечно, это не потому, что люди стали более воздержанными, но потому, что они теперь менее доверчивы, и жалоба, которая некогда была бы убедительной для народов, живших в простоте, в наши дни вызвала бы лишь насмешки шутников; теперь выгоднее молчать. Во Второзаконии ³ есть закон, по которому обманутая девушка наказывалась вместе с обольстителем, если преступление было совершено в городе; но если оно было совершено в поле или в пустынной местности, то наказывался один лишь мужчина: ибо «отроковица обрученная кричала, но некому было спасти ее». Это добродушное толкование учило девушек не попадаться в местах, посещаемых людьми.

Это различие во взглядах очень ощутимо повлияло на нравы. Теперешняя любезность обхождения — результат этого различия. Мужчины, найдя, что удовольствия их зависят от воли прекрасного пола больше, чем они думали, пленили эту волю угодливостью, за которую тот вполне вознаградил их.

Смотрите, как физический мир незаметно приводит нас к миру нравственному и как из грубого единения полов мало-помалу зарождаются самые сладкие законы любви. Власть женщин оказывается у них не потому, что этого пожелали мужчины, а потому, что так хочет природа: она была у них еще раньше того, как они оказались имеющими ее. Тот самый Геркулес, который думал, что преодолел пятьдесят дочерей Феспия ⁴, был вынужден прять шерсть, сидя у Омфалы ⁵; и сильный Самсон не так был силен, как Далила ⁶.

* Бывает такое несоответствие в возрасте и силах, что оказывается возможным действительное насилие; но, трактуя здесь об относительном положении полов, соответственно порядку природы, я беру общие соотношения между ними, в которых и выражается это относительное положение.

Власть эта принадлежит женщинам и не может быть отнята у них, даже когда они злоупотребляют ею; если бы они могли потерять ее, они давным-давно уже потеряли бы ее.

В ближайших последствиях полового различия не существует никакого равенства между полами. Самец бывает самцом лишь в известные моменты; самка же остается самкой всю жизнь или, по крайней мере, всю свою молодость; ей все беспрестанно напоминает о ее поле, и, чтоб хорошо выполнять свои функции, ей нужна и соответственная им организация. Ей нужна осторожность во время беременности; нужен покой во время родов: нужна тихая и сидячая жизнь, чтобы кормить своих детей; нужно терпение и кротость, чтобы воспитывать их, нужны рвение и привязанность, ни перед чем не отступающая: она служит связью между детьми и отцом их, она одна заставляет его любить их и дает ему возможность с уверенностью называть их своими. Сколько нежности и забот нужно ей для поддержания всего семейства в единении! И наконец, все это должно быть для нее не одною из добродетелей, а естественным стремлением, без которого род человеческий скоро угас бы.

Взаимные обязанности того и другого пола не одинаково строги и не могут быть одинаково строгими. Когда женщина жалуется по этому поводу на несправедливое неравенство, вносимое в эти отношения мужчиною, она не права: это неравенство не есть человеческое учреждение, или по крайней мере оно — не дело предрассудка, но дело разума: тот именно из двух полов, которому природа дала в качестве залога детей, и должен отвечать за этот залог перед другим полом. Несомненно, что никому не позволительно нарушать верность, и всякий неверный муж, лишаящий свою жену единственной награды за выполнение строгих обязанностей ее пола, есть человек несправедливый и жестокосердный; но неверная жена делает больше: она разъединяет семью и сокрушает все природные связи; награждая мужчину детьми, ему не принадлежащими, она изменяет тем и другим и к неверности присоединяет вероломство. Едва ли можно найти такое бесчинство или преступление, которое не было бы связано с этим. Если есть ужасное в мире состояние, то это состояние несчастного отца, который, не питая доверия к своей жене, не осмеливается предаваться самым сладостным чувствованиям своего сердца, которого, когда он обнимает своего ребенка, мучит сомнение, не обнимает ли он чужое дитя, являющееся залогом его отчаяния, похитителем добра у его собственных детей. Что такое в этом случае семья, как не общество тайных врагов, которых виновная женщина вооружает одного против другого, принуждая их прикидываться взаимно любящими друг друга?

Итак, важно, чтобы женщина не только была верной, но и считалась таковою со стороны мужа, родных ее, со стороны всего света; важно, чтобы она была скромной, внимательной, осторожной и чтобы в глазах других, как и в ее собственной совести, читалось признание ее добродетели. Наконец, если важно, чтобы отец любил своих детей, то нужно, чтоб он уважал их мать. Таковы основания, которые даже внешний вид ставят в число обязанностей для женщины и делают для них честь и репутацию столь же необходимыми, как и целомудрие. Из этих принципов, вместе с нравственным различием между полами, вытекает и новое требование долга и приличия, предписывающее специально женщинам самое тщательное наблюдение за своим поведением, за своими манерами и внешнею выправкой. Неопределенно утверждать, что оба пола равны и что их обязанности одно и то же, — значит тратить время на пустую декламацию, значит говорить пустяки, пользуясь тем, что никто не будет отвечать на это.

Разве это значит рассуждать вполне основательно, если исключения нам выдают за опровержение общих законов, столь прочно обоснованных? Женщины, говорите вы, не всегда рожают детей. Не всегда, но все-таки их предназначение — производить детей. Как! На основании того, что во Вселенной есть сотня больших городов, где женщины, ведя распущенную жизнь, мало рожают детей, вы утверждаете, что назначение женщины — меньше рождать их? А что стало бы с вашими городами, если бы отдаленные деревни, где женщины живут проще и целомудреннее, не вознаграждали бесплодие барынь? Сколько таких провинций, где женщины, родившие только четырех или пятерых детей, слывут малоплодовитыми *? Наконец, что за важность, если та или другая женщина производит мало детей? Разве после этого быть матерью — уже не назначение женщины и разве природа и нравственность не должны общими законами содействовать этому назначению?

Да если б и были такие длинные промежутки между периодами беременности, какие предполагают, может ли женщина так резко менять один образ жизни на другой без опасности для себя и риска? Может ли сегодня быть кормилицею и завтра воином? Может ли менять темперамент и вкусы, как хамелеон меняет цвета? Может ли

* Без этого род человеческий непременно погиб бы: для его сохранения нужно, приняв в расчет все остальное, чтобы каждая женщина рожала по меньшей мере четырех детей; ибо из нарождающихся детей почти половина умирает до того времени, когда они сами могли бы иметь детей, двое же остальных нужны для того, чтобы иметь налицо отца и мать. А доставят ли вам города это население?

от заключения в четырех стенах и домашних забот сразу перейти к перенесению суровостей климата, к трудам и усталости, к опасностям войны? Может ли быть то боязливой *, то храброй, то нежной, то сильной? Если молодые люди, воспитанные в Париже, с трудом переносят военную службу, то могут ли вынести ее, после пятидесяти лет изнеженной жизни, женщины, которые никогда не подвергались солнечному жару, которые едва умеют ходить? Могут ли они приняться за это суровое ремесло в том возрасте, когда мужчины покидают его?

Есть страны, где женщины рожают почти без страдания и кормят детей почти без труда, — я с этим согласен; но в этих самых странах мужчины ходят во всякое время полунагими, одолевают диких зверей, челн таскают как дорожный мешок, на охоте гонятся по семи-восемь сот лье, спят под открытым небом, на голой земле, переносят невероятную усталость и по несколько дней проводят без пищи. Когда женщины становятся крепкими, мужчины делаются еще крепче; когда же мужчины изнеживаются, женщины еще более изнеживаются: если две величины изменяются одинаково, то разность остается неизменною.

Платон в своем «Государстве» предназначает для женщин те же упражнения, как и для мужчин ⁷; это совершенно понятно для меня: отняв у своего государства частную семейную жизнь и не зная, что делать с женщинами, он увидел себя вынужденным сделать из них мужчин. Этот удивительный гений все скомбинировал, все предвидел; он предупреждал возражения, которых, быть может, никто и не вздумал бы ему делать; но он плохо разрешил то возражение, которое ему делают. Я говорю не о той мнимой общности жен, упреки за которую, столь часто повторяемые, доказывают лишь то, что люди, делающие их, никогда не читали Платона; но я говорю о том отсутствии гражданских различий, при котором оба пола всюду встречаются в одних и тех же должностях, при одних и тех же занятиях и которое не может не порождать самых нетерпимых злоупотреблений; я говорю об этом исключении самых сладостных природных чувствований, принесенных в жертву искусственному чувству, которое через них только и может существовать, — как будто для образования условных связей не нужно природного единения, как будто любовь к близким не есть основа любви, которую мы обязаны питать к государству, как будто не через семью сердце

* Робость женщин является также природным инстинктом, охраняющим их от двойной опасности, которой они подвергаются во время родов.

привязывается к отечеству, как будто добрый гражданин создается не из доброго сына, доброго отца, доброго мужа!

Раз доказано, что мужчина и женщина не являются и не должны являться одинаково организованными ни по характеру, ни по темпераменту, отсюда следует, что они не должны получать и одинакового воспитания. Следуя направлению природы, они должны действовать согласно, но они не должны делать одно и то же; цель трудов — общая, но сами труды различны, а следовательно, различны и вкусы, дающие им направление. Попытавшись сформировать естественного мужчину, чтобы не оставлять своего дела неоконченным, посмотрим теперь, как должна формироваться и женщина, подходящая для этого мужчины.

Если хотите быть под хорошим руководством, следуйте всегда указаниям природы. Все, что характеризует пол, должно быть уважаемо, как установленное ею. Вы постоянно твердите: «Женщины имеют такой-то недостаток, которого у нас нет». Ваша гордость обманывает вас: у вас это было бы недостатком, но у них это — отличительное свойство; дело шло бы еще хуже, если б они не имели этих свойств. Не давайте вырождаться этим мнимым недостаткам, но берегитесь уничтожать их.

Женщины, со своей стороны, не перестают кричать, что мы так воспитываем их, чтобы они были пустыми кокетками, что мы постоянно забавляем их пустяками, чтобы тем легче оставаться их повелителями; они сваливают на нас вину в тех недостатках, за которые мы их упрекаем. Какое безумие! С каких это пор мужчины стали вмешиваться в воспитание девиц? Кто мешает матерям воспитывать их, как им угодно? Они не имеют коллегий — какое несчастье! Дай Бог, чтоб их не было и для мальчиков! Эти последние тогда были бы воспитаны разумнее и добропорядочнее. Разве принуждают ваших дочерей тратить время на всякий вздор? Разве их против воли заставляют проводить полжизни за туалетом, по вашему примеру? Разве мешают вам учить их самим или отдавать в учение, куда вам угодно? Разве наша вина, если они нравятся нам, когда красивы, если жеманство их нас прельщает, если искусство, которому они учатся у вас, привлекать нас и льстить нам, если мы любим видеть их со вкусом одетыми, если мы предоставляем им точить на досуге оружие, которым они нас покоряют? Эх! Попробуйте воспитывать их как мужчин — последние охотно согласятся на это. Чем больше они захотят походить на них, тем менее будут ими управлять, а тогда-то мужчины и будут повелителями в истинном смысле слова.

Все способности, общие обоим полам, не поровну распределены

между ними; но, взятые в целом, они взаимно уравниваются. Женищина дороже стоит как женщина, но не хороша в качестве мужчины; где она защищает свои права, там она всюду одерживает верх; а где она хочет похитить наши права, там она всегда остается в проигрыше. Опровергать эту общую истину можно только ссылкой на исключения: это постоянный способ аргументации у галантных сторонников прекрасного пола.

Итак, развивать в женщинах качество мужчины и пренебрегать теми, которые им свойственны, — значит очевидным образом действовать им во вред. Они настолько хитры, что отлично видят это и не хотят попасть впросак; пытаюсь захватить наши преимущества, они не расстаются со своими; отсюда происходит то, что, не будучи в состоянии управиться с теми и другими, так как они не совместимы, женщины, не поднимаясь до нашего уровня, не достигают и того, который доступен им, и, таким образом, теряют половину своей цены. Поверьте мне, рассудительная мать; не делайте из вашей дочери порядочного мужчину, как бы для того, чтобы изобличить природу в промахе; сделайте из нее порядочную женщину — и будьте уверены, что это будет лучше и для нее, и для нас.

Следует ли отсюда, что она должна быть воспитываема в полном невежестве и должна ограничиваться одними заботами по хозяйству? Неужели мужчина сделает из своей подруги служанку? Неужели, живя с нею, он лишит себя величайшей прелести общения? Неужели, чтобы лучше поработить ее, он лишит ее возможности чувствовать, знать? Неужели он сделает из нее настоящего автомата? Нет, без сомнения; этого не указала природа, которая наделяет женщин умом столь приятным и столь гибким; напротив, она хочет, чтобы они мыслили, судили, чтобы они любили, познавали, украшали ум свой, как и фигуру свою; это те орудия, которыми она наделяет их, чтобы возместить недостающую им силу и чтобы управлять нашей силой. Они должны учиться многому, но только тому, что им прилично знать.

Рассматриваю ли я специальное назначение пола, наблюдаю ли его склонности, слежу ли за его обязанностями, я всюду неизменно нахожу указания на форму воспитания, ему приличную. Женщина и мужчина созданы друг для друга, но их взаимная зависимость не одинакова: мужчины зависят от женщин через свои вожделения; женщины зависят от мужчин и через вожделения, и через свои потребности; нам легче было бы существовать без них, чем им без нас. Чтобы иметь им необходимое, чтобы устроить свое положение, для этого нужно, чтобы мы дали им это, чтобы мы захотели им дать, чтобы мы считали их достойными этого; они зависят от наших чувствава-

ний, от цены, которую мы придаем их заслугам, от того, насколько мы дорожим их прелестями и добродетелями. По самому закону природы, женщины, как сами по себе, так и ради детей своих, находятся в зависимости от суждения мужчины; мало, если они достойны уважения, — нужно, чтобы их уважали; недостаточно им быть прекрасными, — нужно, чтобы они нравились; недостаточно быть умными, — нужно, чтобы их признали за таковых; честь их зависит не от одного поведения, но и от репутации, и невозможно, чтобы женщина, которая соглашается прослыть бесчестной, была когда-либо порядочною. Мужчина, поступающий честно, зависит только от себя самого и может бравировать перед общественным суждением; но женщина, поступая честно, выполняет лишь половину своей задачи, и то, что думают о ней, для нее не менее важно, чем то, что она есть в действительности. Отсюда следует, что система ее воспитания должна составлять в этом отношении противоположность системе нашего воспитания: людское мнение для мужчин есть могила добродетели, а для женщин — это трон ее.

От хорошего телосложения матерей зависит прежде всего телосложение детей; от заботливости женщин зависит первоначальное воспитание мужчин; от женщин зависят, кроме того, нравы их, страсти, вкусы, удовольствия и самая честь. Таким образом, все воспитание женщин должно иметь отношение к мужчинам. Нравиться этим последним, быть им полезными, снискивать их любовь к себе и почтение, воспитывать их в молодости, заботиться о них, когда вырастут, давать им советы, утешать, делать жизнь их приятною и сладкою — вот обязанности женщин во все времена, вот чему нужно научить их с детства. Пока мы не поднимемся до этого принципа, мы будем плутать без толку, и все наставления, которые будут преподносить им, несколько не послужат ни для их счастья, ни для нашего.

Но хотя всякая женщина хочет нравиться мужчинам и должна этого хотеть, есть все-таки большая разница между желанием понравиться человеку достойному, стоящему любви, и желанием нравиться тем ничтожным любезникам, которые бесчестят свой пол и тот пол, которому подражают. Ни природа, ни разум не могут заставить женщину полюбить в мужчине то, что походит на нее самое, а тем более она не должна перенимать манер мужчин с целью добиться их любви.

Поэтому, когда женщины, покидая скромный и степенный тон, приличный их полу, перенимают обращение этих вертопрахов, то они не только не следуют своему призванию, но даже отказываются от него; они у самих себя отнимают права, которые думают похитить

у другого. «Если бы поступали иначе, — говорят они, — мы не правились бы мужчинам». Они лгут. Нужно быть безумною, чтобы любить безумных; желание привлечь таких людей указывает на вкус той, которая обнаруживает это желание. Если б не было пустых мужчин, она поторопилась бы создать их, и пустоту их скорее можно назвать делом женщины, чем пустоту этой последней — делом мужчин. Женщина, которая любит настоящих мужчин и хочет поправиться им, подбирает и средства, подходящие к ее цели. Женщина — кокетка по своему положению; но кокетство ее меняет форму и предмет стремлений, смотря по ее целям; урегулируем эти цели согласно с целями природы — и женщина получит воспитание, подходящее для нее.

Маленькие девочки, чуть не с самого рождения, любят наряды; не довольствуясь тем, что они прекрасны, они хотят, чтобы их и находили таковыми: по всему их обращению видно, что их занимает уже эта забота; и едва они начинают понимать, что о них говорят, как ими можно уже управлять, указывая на то, что другие подумают о них. Если подобный мотив представить мальчуганам, он далеко не окажет на них такого влияния. Им лишь бы пользоваться независимостью и иметь удовольствия, а о том, что могут подумать о них, они очень мало заботятся. Нужно немало времени и труда, чтобы подчинить их этому же закону.

С какой стороны ни получают девушки этот первый урок, он очень для них пригоден. Так как тело рождается, так сказать, прежде души, то и первоначальное культивирование должно начинаться с тела: это общий для обоих полов порядок. Но цель этого культивирования различна: для одного этой целью служит развитие сил, для другой — раскрытие прелестей; это не значит, что качества эти должны быть исключительными для каждого пола — тут противоположно только применение этих качеств: женщинам нужно столько силы, чтобы все, что они ни делают, делать с грацией; мужчинам нужно столько ловкости, чтобы все, что они ни делают, делать с легкостью.

От крайней изнеженности женщин ведет начало изнеженность мужчин. Женщины должны быть сильны не как они, но для них, чтобы рождающиеся от них мужчины были тоже сильными. В этом отношении монастыри, где пансионерки питаются грубою пищей, но много резвятся, много бегают, играют на открытом воздухе и в садах, предпочтительнее отцовского дома, где девушка, при изысканном питании, при постоянных ласках или нагонях, вечно сидит на глазах у своей матери, в запертой со всех сторон комнате, не смеет ни встать, ни пойти, ни пикнуть, ни заговорить и не имеет свободной

минуты для того, чтобы поиграть, попрыгать, побегать и покричать, чтобы предаться резвости, естественной для этого возраста: тут вечно царит или опасная распушенность, или нелепая строгость и никогда ничего нет сообразного с рассудком. Вот как разрушают тело и портят сердце молодежи.

В Спарте девушки упражнялись, как и мальчики, в военных играх, не с целью идти на войну, но чтобы рождать некогда детей, способных выносить ее трудности. Не это я одобряю: чтобы дать государству солдат, матерям нет необходимости носить ружье и проделывать на прусский манер артикулы; но я нахожу, что, говоря вообще, греческое воспитание было в этой своей части весьма разумным. Молодые девушки часто показывались в публике, но не впере-мешку с мальчиками, а собранные отдельно. Не было почти праздника, жертвоприношения, церемонии, на которой не видны были бы толпы дочерей первейших граждан; увенчанные цветами, они пели гимны, составляли хоры при танцах, несли корзины, вазы, приношения и представляли извращенным чувствам греков прелестное зрелище, способное уравновесить дурное влияние их непристойной гимнастики. Какое впечатление ни производил этот обычай на сердца мужчин, все же благодаря упражнениям, приятным, умеренным и здоровым, он прекрасно наделял в юности этот пол хорошим телосложением, изоощрял и развивал благодаря постоянному желанию нравиться вкус его, не подвергая в то же время опасности его нравственность.

Как скоро эти молодые особы выходили замуж, их не видно было уже в публике; заключенные в своих домах, они сосредоточивали все свои заботы на своем хозяйстве и семье. Таков образ жизни, предписываемый этому полу природой и разумом. Потому-то от этих матерей рождались самые здоровые, самые крепкие, лучше всех в мире сложенные мужчины; и несмотря на дурную славу некоторых островов, достоверно, что из всех народов мира, не исключая даже римлян, нельзя указать ни одного, где женщины были бы одновременно и благонравные и милые и где лучше соединены были бы нравственность и красота, чем в Древней Греции.

Известно, что легкость одежды, не стеснявшая тела, много содействовала сохранению у обоих полов тех прекрасных пропорций, которые мы видим в древних статуях и которые теперь еще служат моделью для искусства, когда обезображенная природа перестала доставлять ему образцы из нашей среды. У них не было ни одной из всех этих готических пут, из этого множества связок, которые со всех сторон сдавливают наши члены. Женщины их не знали употребле-ния тех остонов из китового уса, посредством которых наши жец-

щины скорее обезобразивают свою талию, чем намечают ее. Я не могу представить себе, чтобы это злоупотребление, доведенное в Англии до непостижимой степени, не привело, наконец, к вырождению человеческого рода, и я утверждаю даже, что цель, которую имеют в виду при этом украшения, обнаруживает дурной вкус. Нет ничего приятного — видеть женщину перерезанною надвое, точно оса; это неприятно действует на глаз и заставляет страдать воображение. Тонкость талии, как и все остальное, имеет свои соотношения, свой предел, переход за который бывает, несомненно, недостатком; этот недостаток даже резал бы глаза на голом теле; почему же под одеждою он обратится в красоту?

Я не осмеливаюсь пускаться в разбор оснований, в силу которых женщины упорствуют в подобном затягивании себя; отвислая грудь, вздутый живот и прочее — все это, согласен, очень неприятно в особенности лет двадцати, но в тридцатилетней женщине это уже не поражает; а так как нам приходится, на зло самим себе, во всякое время быть тем, чем хочет нас сделать природа, и так как глаз мужчины не обманывается, то недостатки эти не так неприятны в любом возрасте, как неприятно глупое жеманство сорокалетней девочки.

Все, что стесняет и насилует природу, указывает на дурной вкус; это справедливо относительно украшения тела, как и относительно украшения ума. Жизнь, здоровье, разум, благосостояние должны стоять впереди всего; грация неразлучна с непринужденностью; изящество — это не вялость, и, чтобы нравиться, для этого не нужно быть нездоровой. Когда страдаешь, то возбуждаешь жалость; но удовольствие и вожделение одинаково ищут свежести здоровья.

У детей обоего пола много общих забав; это и должно быть: разве у них нет общих забав и тогда, когда они подрастут? Но у них есть также собственные вкусы, отличающие один пол от другого. Мальчики ищут движений и шума, им нужны барабаны, кубари, тележки; девочки любят больше то, что кидается в глаза и служит к украшению: зеркала, другие безделушки, лоскутки и особенно куклы: кукла — специальная забава этого пола — вот где вкусом очень наглядно определяется назначение этого пола. Материальная сторона искусства нравиться заключается в наряде, а это только доступно детям в этом искусстве.

Посмотрите, как маленькая девочка целый день возится со своей куклой, как беспрестанно меняет ей убранство, одевает и раздевает ее сотни раз, постоянно придумывает все новые и новые комбинации из украшений; хорошо или дурно они подобраны, не в этом дело; пальцам недостает ловкости, вкус еще не развился, но склонность уже обнаруживается; в этом вечном занятии время течет совершенно

незаметно; часы бегут, она ничего не хочет знать и забывает даже об обеде — у нее больше позывов к наряду, чем к пище. «Но она наряжает, — скажете вы, — свою куклу, а не себя лично». Без сомнения; она видит свою куклу и не видит себя; она не может пока ничего сделать для себя самой; она еще не развилась, не имеет еще ни таланта, ни силы, она пока еще ничто, она вся в своей кукле и на ней сосредоточивает все свое кокетство. Но она не навсегда оставит его там и лишь ждет момента самой сделаться своей собственной куклой.

Итак, вот первая склонность, очень резко очерченная: вам остается лишь следить за ней и регулировать ее. Конечно, малютке от всего сердца хотелось бы уметь убирать свою куклу, делать ей банты на рукавах, косынки, фалбалу⁸, кружева; но тут ее так сурово подчиняют чужому произволу, что ей гораздо удобнее быть во всем обязанной своей собственной изобретательности. Вот основа для первых уроков, преподаваемых ей; уроки эти — не заданная ей задача, а оказанная ей услуга. И действительно, почти все девочки с большой неохотой учатся читать и писать; но когда дело касается иголки — они всегда охотно учатся. Они заранее воображают себя большими и с удовольствием думают о том, что эти таланты могут со временем помочь им наряжаться.

Раз проложен этот первый путь, не трудно идти и дальше: шитье, вышивание, плетение кружев являются сами собою. Вышивание по канве уже не так им по вкусу; мебель — совсем не их дело, она не связана с личностью, она связана с другими совсем представлениями. Вышивание по канве — забава для женщин; девочки никогда не будут заниматься этим с большим удовольствием.

Эти добровольные успехи легко распространяются и на рисование, ибо искусство это не безразлично для искусства одеваться со вкусом; но я не желал бы, чтобы их засадили за рисование ландшафтов, а тем более за рисование лиц. Берите листву, плоды, цветы, драпировку, все, что может пригодиться для того, чтобы придать изящное очертание нарядам или самой составить узор для вышивания в случае, если ничего не окажется по вкусу, — этого и достаточно. Вообще, если мужчинам важно ограничивать свое обучение полезными знаниями, то это еще важнее для женщин, которые хотя и ведут менее трудолюбивую жизнь, но бывают или должны быть более преданы своим занятиям и чаще отвлекаются от дела разными заботами, а поэтому и не имеют возможности увлекаться, по своему выбору, каким-нибудь искусством в ущерб своим обязанностям.

Что бы там ни говорили шутники, но здравый смысл одинаково свойствен обоим полам. Девочки вообще послушнее мальчиков, да

над ними необходимо проявлять и больше власти, как я сейчас покажу; но отсюда не следует, что от них нужно требовать чего-нибудь такого, пользу чего они не в состоянии видеть; искусство матерей в том и состоит, чтобы показывать им эту пользу во всем, что они им предписывают, и это тем легче, что смывленность у девочек появляется скорее, чем у мальчиков. Это правило исключает по отношению к их полу, так же как и по отношению к нашему, не только все праздные занятия, которые не ведут ни к чему хорошему и не делают даже людей, предающихся им, более приятными для других, но и все те занятия, полезность которых не очевидна для этого возраста и не может быть заранее усмотрена ребенком даже в более позднем возрасте. Если я не желаю, чтобы мальчика торопились учить читать, то тем более я не желаю, чтобы принуждали к этому девочек, пока им не дадут хорошо понять, на что служит чтение; а при том способе, каким обыкновенно доказывают им полезность этого искусства, следят гораздо более за своею собственною, чем за их мыслью. Да, наконец, какая необходимость девочке — уметь так рано читать и писать? Разве ей так скоро предстоит заведовать хозяйством? Мало таких, которые не извлекают больше вреда, чем пользы из этой роковой науки, а все они настолько любопытны, что научаются этому без всякого принуждения, когда представляется досуг и случай. Быть может, раньше всего они должны научиться счету; ибо ничто так осязательно не обнаруживает свою полезность для всякого времени, ничто не требует большего навыка и не ведет так часто к ошибкам, как счет. Если малютка будет получать вишни для своего завтрака не иначе, как по арифметическому вычислению, то я ручаюсь, что она скоро научится вычислять.

Я знаю одну молодую особу, которая писать научилась раньше, чем читать, и которая, прежде чем писать пером, начала писать иглою. Из всех букв она любила выделять одно только О. Она беспрестанно чертила кружки, большие и малые, кружки всякой толщины, одни кружки в других — и все наыворот. К несчастью, раз, когда она была занята этим полезным упражнением, она увидела себя в зеркало; найдя, что эта вынужденная поза делает ее неграциозной, она, как вторая Минерва⁹, закинула перо и не хотела уже выводить О. Брат ее не больше любил писать, чем она; но его выводило из терпения принуждение, а не тот вид, который оно придавало ему. Приняли другие меры, чтобы снова засадить ее за буквы; маленькая девочка была обидчива и тщеславна — она не подозревала, что белее ее служит для сестер ее; его метили, потом перестали метить: пришлось самой метить, — остальной ход дела понятен.

Выясняйте пользу забот, возлагаемых вами на молодых девушек,

но все же возлагайте их. Праздность и непослушание — два самых опасных для них недостатка, от которых труднее всего избавиться, раз они заражены ими. Девушки должны быть бдительны и трудолюбивы, — и это не все: они должны с ранних пор приучиться к принуждению. Это несчастье, если только это бывает для них несчастьем, неразлучно с их полом, и они освобождаются от него лишь для того, чтобы терпеть еще более жестокие несчастья. Они всю жизнь свою будут покорены непрестанному и самому строгому принуждению — принуждению, обусловленному приличиями. Их нужно с самого начала приучать и к стеснению, чтобы оно ничего для них не стоило, и к обузданию всех своих прихотей, чтобы подчинять их воле другого. Если б им захотелось вечно работать, нужно было бы подчас принуждать их к ничегонеделанию. Мотовство, пустота, непостоянство — вот недостатки, легко порождаемые испорченностью их первых склонностей и вечным потворством этим склонностям. Чтобы предупредить это злоупотребление, особенно приучайте их побеждать себя. При наших неразумных учреждениях жизнь честной женщины есть непрерывная борьба против самой себя, и справедливо, чтобы этот пол разделял тягость бедствий, которые он нам причинил.

Не давайте девушкам скучать за своими занятиями и пристращаться к своим забавам, что всегда случается при обычном воспитании, когда все скучное, по выражению Фенелона¹⁰, кладут по одну сторону, а все удовольствия — по другую. Первое из этих двух неудобств, если следовать вышеизложенным правилам, мыслимо лишь тогда, когда лица, их окружающие, не будут им нравиться. Маленькая девочка, которая любит мать или свою няню, целый день без скуки будет работать возле них; даже одна болтовня вознаградит ее за все стеснение. Но, если особа, руководящая ею, невыносима для нее, она будет питать одинаковое отвращение ко всему тому, что будет делать под ее надзором. Трудно допустить, чтобы вышел когда-нибудь прок из девочек, которым общество матерей не бывает более приятным, чем какое бы то ни было в мире общество; но, чтобы судить об их истинных чувствованиях, нужно изучать их и не доверяться тому, что они говорят, ибо они льстивы, притворны и с ранних пор умеют маскироваться. Тем более не должно им предписывать, чтобы они любили свою мать; любовь является не в силу долга и не здесь пригодно принуждение. Привязанность, заботливость, одна даже привычка заставит ее полюбить мать, если последняя ничем не навлечет их ненависти. Самое стеснение, в котором та держит их, если хорошо направлено, не только не ослабит этой привязанности, но еще увеличит ее, потому что, раз зависимость — ес-

тественное состояние для женщин, девушки чувствуют себя созданными для повиновения.

В силу того же, что они имеют или должны иметь мало свободы, они и ту долю свободы, которую им предоставляют, доводят до крайности; крайние во всем, они отдаются своим играм еще с большим увлечением, чем мальчики, — это второе из пудобств, о которых я только что говорил. Увлечение это должно быть умеряемо, ибо оно бывает причиной многих пороков, свойственных женщинам, — между прочим, причиной капризов и пристрастия, которое заставляет женщину приходить сегодня в восторг от предмета, на который завтра она и не взглянет. Непостоянство вкусов так же для них пагубно, как и излишество, — то и другое вытекает из одного и того же источника. Не отнимайте у них веселья, смеха, шума, резвых игр, но не давайте им пресыщаться одним и перебегать к другому; не допускайте, чтобы хоть одну минуту в жизни они не знали узды. Приучайте их прекращать на половине свои игры и без ропота переходить к другим заботам. Для этого достаточно пока одной привычки, потому что она только содействует природе.

Результатом этого привычного принуждения является послушание, которое во всю жизнь нужно женщинам, потому что они никогда не выходят из подчинения то мужчине, то суждениям мужчин, и потому что им никогда не позволительно относиться свысока к этим суждениям. Первое и самое важное качество женщины — кротость; созданная на то, чтобы повиноваться существу, столь не совершенному, как мужчина, часто столь преисполненному пороками и всегда преисполненному недостатками, она должна с ранних пор научиться терпеть даже несправедливость и без жалоб сносить вины мужа; не для него, а для себя она должна быть кроткой. Сварливость и упорство женщин только умножает их бедствия и дурные поступки мужей; последние чувствуют, что не этим оружием они должны побеждать их. Не для того Небо создало их вкрадчивыми и способными убеждать, чтобы они делались сварливыми; не для того создало слабыми, чтобы они были властными; не для того наделило их столь нежным голосом, чтобы они бранились; не для того дало столь тонкие черты, чтобы обезображивать их гневом. Когда они сердятся, то не помнят себя; они часто правы в своих жалобах, но они всегда не правы в своей ругани. Каждый должен сохранять тон, свойственный его полу: слишком кроткий муж может сделать жену дерзкою; но, если только мужчина не чудовище, кротость женщины смиряет его и, рано или поздно, торжествует над ним.

Пусть дочери всегда будут покорными, но пусть и матери не будут всегда неумолимыми. Для того чтобы сделать послушною моло-

дую особу, незачем делать ее несчастною; чтобы сделать ее скромной, для этого не нужно доводить ее до отупения; напротив, я ничего не имел бы против того, чтобы ей подчас давали пускать в дело и долю хитрости — не с целью избежать наказания за непослушание, но с целью уклониться от необходимости послушаться. Дело не в том, чтобы сделать эту зависимость тяжелою, — достаточно дать ей почувствовать ее. Хитрость — талант естественный для этого пола; будучи убежден, что все естественные склонности хороши и правильны сами по себе, я держусь того мнения, что нужно развить и эту, как и прочие; следует лишь предупреждать злоупотребления.

Вопрос о правдивости этого замечания я отдаю на суд любого добросовестного наблюдателя. Я не хочу, чтобы наблюдения производили над самими женщинами; наши стеснительные учреждения могут вынудить их изощрять свой ум; я хочу, чтобы наблюдали за девочками, маленькими девочками, которые только что, так сказать, родились: пусть сравнят их с крошками мальчуганами того же возраста, и если эти последние не покажутся, рядом с ними, тупыми, ветреными, дураками, то я, бесспорно, не прав. Пусть мне позволено будет привести один пример, взятый во всей его детской наивности.

В большом ходу обычай запрещать детям просить что-нибудь со стола, ибо полагают, что наибольшие успехи при воспитании получаются тогда, когда детей заваливают кучей бесполезных предписаний, как будто нельзя, если дети просят кусок того или другого, сейчас же дать или отказать *, не заставляя бедного ребенка постоянно мучиться от алчного желания, обостренного надеждой. Всякий слышал о ловкости мальчугана, получавшего подобное предписание, как он, будучи забыт за столом, вздумал, наконец, попросить соли и т. д. Я не стану уже говорить, что можно было бы придраться к тому, что он просил не прямо мяса, а просил соли; упущение было столь жестоким, что, если бы он и открыто нарушил закон и сказал бы без уверток, что ему хочется есть, он, думаю, не был бы за это наказан. Но вот как поступила в моем присутствии одна маленькая шестилетняя девочка в случае гораздо более затруднительном, ибо, кроме того, что ей было строго запрещено просить что-нибудь, прямо или обиняками, неповиновение ее было уже потому непростительным, что она отведала уже всех блюд, кроме одного, из которого забыли ей дать, хотя ей очень хотелось поестъ этого.

* Ребенок делается докучливым, если находит это выгодным для себя; но он не станет дважды просить одной и той же вещи, если первый ответ всегда бывает непреложным.

Желая добиться того, чтобы исправили эту забывчивость, но так, чтобы не наказали ее за ослушание, она стала перебирать все блюда, указывая на каждое пальцем и громко говоря: «Это я ела, это я ела»; но она с такою очевидностью нарочно обходила, ни слова не говоря, то блюдо, которого она не ела, что кто-то, подметив это, спросил: «А это ела ты?» — «О, нет!» — кротко возразила маленькая лакомка, опуская глаза. Я не стану ничего добавлять; сопоставьте: этот прием — хитрость девушки, а тот — хитрость мальчика.

Что есть, то хорошо, и никакой всеобщий закон не бывает дурным. Та особенная ловкость, которою наделен этот пол, является совершенно справедливым вознаграждением за силу, которой у него мало; без этого женщина была бы не подругой мужчины, а его рабой; благодаря этому превосходству таланта она держит себя наравне с ним и, повинуясь ему, управляет им. Все против женщины: наши недостатки, ее робость, ее слабость; за нее — только искусство ее и красота. Не должна ли она изощрять то и другое? Но красота не общее достояние; она погибает от тысячи случайностей, она проходит с годами, привычка уничтожает ее действие. Один лишь ум есть истинный ресурс для этого пола, но не тот глупый ум, которому придают в свете столько значения и который нисколько не содействует жизненному счастью, а ум, обусловленный положением женщины, т. е. искусство извлекать пользу из нашего ума и пользоваться нашими собственными преимуществами. Мы не можем себе представить, как эта женская ловкость полезна нам самим, сколько она придает прелести общению двух полов, как она помогает обуздывать буйство детей, как она сдерживает грубых мужей, как поддерживает порядок в семье, которая без этого волновалась бы несогласиями. Хитрые и злые женщины злоупотребляют ею — я это хорошо знаю; но чем порок не злоупотребляет? Не станем уничтожать орудий счастья только потому, что злые пользуются ими иногда для того, чтобы вредить.

Нарядом можно блистать, но нравиться можно только личностью. Уборы наши — это не мы сами; они часто безобразят своею изысканностью; часто наряд, заставляющий больше всего замечать ту, которая его носит, сам по себе менее всего замечен. Воспитание молодых девушек в этом пункте совершенно противно здравому смыслу. Украшения им обещают в виде награды, их заставляют любить изысканные наряды. «Как она хороша!» — говорят о них, когда они разряжены. А совершенно наоборот — следовало бы дать им понять, что все эти уборы служат только для прикрытия недостатков, что настоящее торжество красоты бывает тогда, когда она блистает сама по себе. Любовь к модам показывает дурной вкус, потому что лица

не меняются вместе с модами; фигура остается одна и та же; поэтому что раз идет к ней, то идет к ней всегда.

Если б я видел, что молодая девушка важничает своими нарядами, я выказал бы беспокойство за ее фигуру, столь тщательно замаскированную, и за то мнение, которое могут составить о ней. Я сказал бы: «Все эти украшения делают ее слишком парядной — очень жаль; а как вы думаете — может ли она без ущерба себе носить более простые платья? Настолько ли она хороша, чтобы могла обойтись без того или этого?» Быть может, девушка тогда первая попросила бы снять с нее это украшение и потом судить о ней; это был бы удобный случай аплодировать ей, если есть за что. Я тогда именно больше всего и расхваливал бы ее, когда она проще всего одета. Если она на наряд будет смотреть как на восполнение прелестей, недостающих самой личности, как на молчаливое признание, что она нуждается в вспомогательных средствах, раз хочет нравиться, то она будет не гордиться своим нарядом, а будет им унижена, и если, нарядившись более обыкновенного, услышит около себя слова: «Как хороша она!», то покраснеет с досады.

Впрочем, есть фигуры, которым нужен наряд; но нет таких, которые нуждались бы в богатых уборах. Разорительные наряды составляют гордость ранга, а не личности; они обусловлены единственно предрассудком. Истинное кокетство бывает иной раз изысканным, но оно никогда не поражает пышностью; и Юнона была более горда в своей одежде, чем Венера. «Не будучи в состоянии создать ее прекрасною, ты делаешь ее богатою», — говорил Апеллес ¹¹ одному плохому живописцу, который рисовал Елену слишком увешанной нарядом. Я тоже заметил, что самые пышные наряды чаще всего служат вывескою для безобразных женщин: трудно придумать тщеславие более неуместное. Дайте молодой девушке, обладающей вкусом и презирающей моду, лент, газу, кисей и цветов, — и она без алмазов, помпонов, кружев * устроит себе такой наряд, который сделает ее во сто раз более очаровательной, чем это могли бы сделать все блестящие тряпки Дюша ¹².

Так как что хорошо, то всегда остается хорошим, и нужно стараться быть всегда как можно лучшим, то женщины, знающие в нарядах толк, выбрав хорошие наряды, неизменно уже и держатся своего выбора; они не меняют их ежедневно и меньше бывают ими заняты, чем те, которые не знают, на чем остановиться. Кто истинно

* Женщины, у которых кожа настолько бела, что они могли бы обойтись без кружев, возбудили бы очень большую досаду в других, если бы перестали носить их. Моды, которым красавицы имеют глупость подчиняться, почти всегда вводятся особами безобразными.

заботится о наряде, тот мало занят туалетом. Молодые барышни редко имеют нарядные туалеты; труд, уроки наполняют их день, меж тем они одеты вообще с такою же заботливостью, как и дамы (только не румянятся), а часто и с большим вкусом. Излишнее занятие туалетом происходит от иной причины, нежели думают: оно вызывается скорее скукой, чем тщеславием. Женщина, проводящая по шести часов за туалетом, хорошо знает, что она выходит не лучше одетою, чем та, которая проводит за ним всего полчаса; но таким путем она сокращает убийственную медлительность времени, а лучше заниматься собою, чем скучать от всего. Не будь туалета, на что тратить жизнь с полудня до девяти часов? Собирая вокруг себя женщин, дамы забавляются тем, что досаждают им, — а это что-нибудь да значит; они избегают свиданий с глазу на глаз с мужем, которого только и можно видеть в эти часы, — а это еще важнее; а затем являются магазинщицы, торговцы подержанными вещами, щеголи, мелкие сочинители, стихи, песни, брошюры: не будь туалета, нельзя было бы так хорошо соединить все это. Единственной действительной выгодой, извлекаемой из этого, является возможность несколько более выставить себя напоказ, нежели тогда, когда женщина одета; но эта выгода, быть может, не так велика, как думают, и женщины за туалетом не столько выигрывают, сколько им хотелось бы. Давайте без всякого зазрения совести женщинам женское воспитание; пусть они полюбят заботы, свойственные их полу, пусть будут скромны, пусть умеют смотреть за хозяйством, быть занятыми в своем доме; пышные туалеты выведутся сами собою, и они будут одеты еще с большим вкусом.

Первое наблюдение, которое делают молодые особы, когда подрастут, показывает им, что все эти посторонние прикрасы недостаточны, если у них нет своих собственных красот. Никогда нельзя наделить себя красотою и не вдруг приобрести кокетство; но зато можно постараться придать приятность своим жестам, привлекательный тон своему голосу, можно приобрести выдержку, научиться ходить легко, принимать грациозные позы и всюду выказывать себя с наиболее выгодной стороны. Голос усиливается, становится тверже, получает тембр; плечи развиваются, походка делается уверенной, — и тогда поневоле замечаешь, что, как ни будь одета, всегда есть средство обратить на себя взоры других. С этих пор речь идет уже не только об игле и ручной работе — новые таланты являются на сцену и уже дают чувствовать свою полезность.

Я знаю, что строгие наставники хотят, чтобы молодых девушек не учили ни пеню, ни танцам, ни одному из приятных искусств¹³. Это мне кажется забавным; и кого же они хотят учить этому? Маль-

чиков! Кому, мужчинам или женщинам, по преимуществу свойственно иметь эти таланты? «Никому», — ответят они; светские песни преступны, танцы — выдумка демона; молодая девушка не должна иметь иного развлечения, кроме труда и молитвы. Вот странные развлечения для десятилетнего ребенка! Что касается меня, то я очень опасаюсь, как бы эти маленькие святоши, которых принуждают проводить детство в молитве, не проводили потом юности за совершенно другим делом и не постарались, вышедши замуж, вознаградить себя за то время, которое потеряли, пока были девицами. Я полагаю, что, обращая внимание на пол, нужно обращать его и на то, что прилично возрасту; думаю, что молодая девушка должна жить не так, как ее бабушка, что она должна быть живой, веселой, резвой, должна петь, плясать сколько душе угодно и вкушать все невинные удовольствия, свойственные возрасту, — и без того слишком скоро наступит время быть степенной и держать себя более серьезно.

Но действительно ли необходима эта перемена? Не является ли требование это, быть может, плодом наших предрассудков? Наложив на честных женщин одни скучные обязанности, этим самым изгнали из брачной жизни все, что могло делать ее приятной для мужчин. Нужно ли удивляться, что молчание, царствующее у них в доме, гонит их оттуда или что у них так мало охоты попасть в это столь неприятное состояние? Преувеличивая все обязанности, христианство делает их неисполнимыми и тщетными; запрещая женщинам пение, танцы и все светские забавы, оно делает их угрюмыми, ворчливыми, невыносимыми в семье. Нет религии, где брак был бы подчинен столь суровым обязанностям, и нет религии, где это столь священное обязательство так презиралось бы. Усилия помешать женщинам быть милыми повели к тому, что мужья стали равнодушными к ним. «Этого не должно бы быть», — совершенно справедливо; но я утверждаю, что это должно было случиться, потому что христиане ведь, наконец, те же люди. Что касается меня, то я желал бы, чтобы юная англичанка с такою же заботливостью развивала приятные таланты с целью нравиться своему будущему мужу, с какою молодая албанка развивает их для исфаганского гарема. «Мужья, — скажут — не очень-то хлопчут о всех этих талантах». Да, это верно, но это бывает тогда, когда таланты эти употребляются не на то, чтобы нравиться им, а лишь служат приманкой для юных наглецов, которые позорят мужей. Но неужели вы думаете, что милая и добропорядочная жена, украшенная подобными талантами и посвящающая их развлечению мужа, не увеличила бы счастья его жизни и не помешала бы ему, вышедши с усталой головой из кабинета, искать освежения где-

нибудь вне дома? Кто не видал счастливого единения семейств, когда каждый умеет по-своему содействовать общему развлечению? Пусть нам скажут: доверие и фамильярность, царствующая здесь, невинность и кротость удовольствий, вкушаемых здесь, не вознаграждают ли за все, что только есть наиболее шумного в общественных удовольствиях?

Приятные таланты слишком усердно подводят под мерку искусства; их слишком обобщили: обратили все в правила и поучение и сделали очень скучным для юных особ то, что должно быть для них лишь забавою и резвою игрой. Я не могу представить себе ничего смешнее того, как старик — учитель танцев или пения с хмурым лицом подходит к молодым особам, которым так и хочется смеяться, и принимает на себя, для преподавания им своей пустой науки, такой педантичный и учительский тон, как будто он учит их катехизису. Разве, например, искусство пения немыслимо без письменных музыкальных знаков? Разве нельзя сделать свой голос гибким и правильным, научиться петь со вкусом и даже аккомпанировать себе — и в то же время не знать ни одной ноты? Разве одна и та же манера пения идет ко всем голосам? Разве одна и та же метода пригодна для всех умов? Никогда меня не уверят, что одни и те же позы, одни и те же па, одинаковые движения, одинаковые жесты и танцы идут и к маленькой, живой, резвой брюнетке и к рослой и красивой блондинке с томными глазами. Когда я вижу, как учитель дает им обоим совершенно одни и те же уроки, я говорю себе: «Этот человек держится рутины — и ничего не понимает в своем искусстве».

Спрашивают: учителя ли нужны для девочек или учительницы? Не знаю; мне очень хотелось бы, чтобы они не имели нужды ни в тех, ни в других, чтобы они свободно учились тому, к чему у них такая большая охота, и чтобы не видно было такой массы разряженных шутов, таскающихся по нашим городам. Мне как-то не верится, чтобы вред, причиняемый общением с этими людьми молодым девушкам, не был больше той пользы, которая извлекается из их уроков, чтобы их жаргон, их тон и чванство не внушили ученицам страсти к пустякам, которые так важны для первых и из которых эти последние не замедлят, по их примеру, сделать единственное свое занятие.

В искусствах, имеющих целью одно лишь увеселение, все может быть учителем молодых особ — отец, мать, брат, сестра, подруги, гувернантки, зеркало и особенно их собственный вкус. Не следует предлагать им брать уроки: нужно, чтобы они сами просили об этом; не следует из награды делать урок; в этих-то именно занятиях успех и зависит больше всего от желания успеть. Впрочем, если решительно нужны правильные уроки, я не стану определенно выска-

зываются относительно пола того лица, которое должно их давать. Я не знаю, следует ли, чтобы танцевальный учитель брал юную ученицу за нежную, белую ручку, заставлял приподнимать юбку, поднимать глаза, разнимать руки, выставлять вперед трепещущую грудь; но я хорошо знаю, что я ни за что на свете не захотел бы быть этим учителем.

Через таланты и их применение формируется вкус; через вкус ум незаметно делается восприимчивым к идеям прекрасного, во всех его родах, и, наконец, к понятиям нравственным, сюда относящимся. Вот, быть может, одна из причин, почему чувство приличия и порядочности в девочках развивается раньше, чем в мальчиках; ибо думать, что это преждевременное чувство обязано своим развитием гувернапткам, — значит быть очень мало знакомым с направлением их уроков и с ходом развития человеческого ума. Дар речи занимает первое место в искусстве нравиться: им одним можно придать новую прелесть тому, что, благодаря привычке, не трогает уже чувств. Ум — вот что не только оживляет тело, но и в некотором роде и возобновляет его; смена чувств и идей — вот что одушевляет и разнообразит физиономию; речь, им внушаемая, и напрягает наше внимание, долго поддерживая в нас одинаковый интерес к одному и тому же предмету. Все эти причины, я думаю, и ведут к тому, что молодые девушки так быстро привыкают к приятной болтовне, что они умеют придать своим словам выразительность, прежде чем почувствуют ее, что мужчинам так приятно слушать их даже тогда, когда те еще не в состоянии понимать их: они выслеживают первые проблески этого разума, чтобы таким образом подметить первое пробуждение чувства.

Язык у женщин гибкий; они говорят скорее, легче и приятнее мужчин. Их обвиняют и в том, что они говорят больше их: это и должно быть, и я охотно вменил бы этот упрек в похвалу; уста и глаза у них проявляют совершенно одинаковую деятельность, и, по одной и той же причине, мужчина говорит, что знает, а женщина — что нравится ей; одному, чтобы говорить, нужны познания, другой — нужен вкус; у одного главным предметом должно быть полезное, у другой — приятное. В их речах не должно быть иных общих черт, кроме истины.

Болтовню девушек поэтому нужно сдерживать не так, как мы сдерживали болтовню мальчиков, не суровым вопросом: «К чему это нужно?» — а другим вопросом, на который им легче ответить, вопросом: «К чему это приведет?» В этом первом возрасте, когда, не будучи еще в состоянии различать добро и зло, они не могут быть судьями личности, они должны поставить себе законом никогда не

говорить ничего, кроме приятного, тому, с кѣм говорят; а это правило тем труднее применить на практике, что оно всегда должно быть подчинено первому, указанному выше правилу — правилу никогда не лгать.

Я вижу тут много и других затруднений, но они касаются более зрелого возраста. А в этом возрасте, чтобы быть правдивыми, молодым девушкам стоит только не быть грубыми; а так как грубость эта естественно отталкивает их, то воспитание легко научает их избегать ее. Вообще я замечая, что в светских сношениях вежливость мужчин более официозна, а вежливость женщин более приветлива. Это различие не заведенное, а природное. Мужчина, по-видимому, больше старается услужить вам, а женщина благосклонно отнестись к вам. Отсюда следует, что, каков бы ни был характер женщин, вежливость их менее лжива, чем наша; она есть лишь дальнейшее развитие их первоначального инстинкта; но когда мужчина прикидывается предпочитающим мои интересы своим собственным, то какими бы доводами он ни прикрашивал эту ложь, я вполне убежден, что он лжет. Таким образом, женщинам почти ничего не стоит быть вежливыми, а следовательно, и девушкам ничего не стоит научиться вежливости. Первый урок дает природа, а искусство лишь следует ей и определяет, смотря по нашим обычаям, в какой форме она должна выказываться. Что касается их взаимной вежливости, то это уже другое дело; они проявляют здесь такую принужденность, такую холодную внимательность, что, стесняя друг друга, не очень даже стараются скрыть это стеснение и кажутся искренними в своей лжи, не стараясь почти замаскировать ее. Однако молодые особы иной раз и в самом деле проявляют чистосердечную дружбу. В их лета веселость заменяет собою добрый характер: будучи довольны собою, они довольны и всеми. Несомненно также, что перед мужчинами они охотнее целуются и с большею грацией ласкают друг друга, гордясь тем, что безнаказанно разжигают их алчное стремление картиною милостей, которыми они так умеют возбудить их зависть.

Если не следует позволять мальчикам нескромные вопросы, то тем строже нужно запрещать это молодым девушкам, любопытство которых, удовлетворенное или неловко обманутое, ведет к совершенно иным последствиям, благодаря той проницательности, с которою они выслеживают скрываемые от них тайны, и благодаря их ловкому умению открывать их. Но, не допуская с их стороны расспросов, я желал бы, чтобы их самих много расспрашивали, чтобы старались вызвать их на болтовню, чтобы их дразнили с целью приучить легко говорить, делать быстрые возражения, с целью развивать им ум и язык, пока это можно сделать без всякой опасности. Эти беседы, если

их вести всегда в шутливом тоне, но вести искусно и хорошо направлять, служили бы прелестною забавой для этого возраста и могли бы преподавать невинным сердцам этих молодых особ первые и, может быть, самые полезные, какие только они получают во всю свою жизнь, уроки нравственности,— научая их, под приманкою удовольствия и тщеславия, тому, чем можно заслужить истинное уважение мужчин и в чем состоит слава и счастье честной женщины.

Совершенно понятно, что если мальчики не в состоянии составить себе никакой истинной идеи о религии, то тем более идея эта превосходит понимание девочек; потому-то я и хотел бы с этими последними пораньше заводить об этом речь; ибо если пришлось бы ждать, пока они будут в состоянии методически обсуждать эти глубокие вопросы, то мы рисковали бы никогда не иметь возможности говорить с ними об этом. Разум женщин есть разум практический; он учит их очень искусно находить средства для достижения известной уже цели, но он не учит находить эту цель. Удивительно общественное соотношение полов. Из этого-то соотношения возникает единая нравственная личность, для которой женщина служит глазом, а мужчина рукою, но они в такой зависимости между собою, что от мужчины женщина научится тому, что ей нужно видеть, а от женщины мужчина узнает, что ему нужно делать. Если бы женщина могла так же хорошо восходить к принципам, как и мужчина, а мужчина обладал бы таким же пониманием деталей, как она, то, не будучи никогда друг от друга в зависимости, они жили бы в вечном раздоре и общения между ними не могло бы существовать. Но при той гармонии, которая между ними царствует, все стремится к общей цели, и еще неизвестно, кто больше вносит сюда своего; каждый следует толчку, данному другим; каждый повинуетя, и оба являются повелителями.

Так как поведение женщины подчинено общественному мнению, то уже поэтому и религия ее обусловлена авторитетом. Всякая девушка должна исповедовать религию своей матери и всякая жена — религию мужа. Если даже эта религия бывает ложною, то послушание, подчиняющее дочь и мать порядку природы, заглаживает перед Богом это греховное заблуждение. Не будучи в состоянии сами быть судьями, они должны подчиняться решению отцов и мужей.

Не будучи в состоянии извлечь из самих себя правил веры, женщины не могут ограничить их пределами очевидности и разума. Увлекаемые тысячью посторонних побуждений, они стоят всегда по эту или по ту сторону истины. Склонные всегда к крайностям, они бывают или вольнодумными, или ханжами; не видно, чтобы они умели

соединять мудрость с благочестием. Источники зла заключаются не только в беспутном характере этого пола, но и в плохой авторитетности нашего пола: распутство нравов внушает к этому авторитету презрение, а ужас раскаяния делает его тираническим — вот почему они впадают всегда или в одну крайность, или в другую.

Так как авторитет должен направлять верования женщины, то задача наша заключается не столько в том, чтобы разъяснить перед ними основания, в силу которых мы веруем, сколько в ясном изложении того, во что веруем; ибо вера, опирающаяся на темные мысли, есть первый источник фанатизма, а вера, которой требуют по отношению к мыслям абсурдным, ведет к безумию или к неверию.

Прежде всего, преподавая молодым девушкам вероучение, никогда не делайте из него предмета скуки и принуждения, никогда не обращайтесь к нему в задачу или урок, а поэтому никогда не заставляйте их заучивать наизусть что-нибудь, сюда относящееся, — даже молитвы. На первых порах довольно будет, если сами вы, в присутствии их, регулярно будете читать свои молитвы, не принуждая их, однако, к этому присутствию. Пусть молитвы будут краткими, как учил этому Иисус Христос. Произносите их всегда с подобающим сосредоточением мыслей и благоговением; не забывайте, что если вы просите у Высшего Существа внимания к своим молитвам, то несравненно более вы должны вложить внимания в ту молитву, с которой обращаетесь к Нему.

Важно не столько то, чтобы девочки скорее ознакомились с вероучением, сколько то, чтобы они хорошо ознакомились, и в особенности чтобы они любили религию. Если вы делаете изучение ее тягостным для них, если вы Бога изображаете вечно гневающимся на них, если вы, во имя его, налагаете на них тысячу трудных обязанностей, которых на их же глазах никогда не исполняете сами, то не явится ли у них мысль, что знать катехизис и молиться Богу — это обязанность одних только маленьких девочек, и не пожелают ли скорее быть взрослыми, чтобы избавиться, подобно вам, от всего этого подчинения? Примеры нужны, примеры — без этого никогда ни в чем не успевают по отношению к детям.

Когда вы объясняете им догматы веры, то делайте это в форме прямого наставления, а не путем вопросов и ответов. Они должны отвечать только то, что думают, а не то, что им подсказали. В ответах катехизиса ученик учит учителя; ответы эти являются даже ложью в устах детей, потому что последние объясняют то, чего не понимают, и утверждают то, во что не в состоянии еще верить. Среди наиболее интеллигентных людей покажите мне таких, которые бы не лгали, пересказывая свой катехизис.

Первый вопрос, который я нахожу в нашем катехизисе, гласит: «Кто тебя создал и поместил в мир?» Маленькая девочка, вполне уверенная, что это ее мать, без всякого однако колебания, отвечает однако, что это бог. Во всем этом ей ясно только то, что на вопрос, которого почти не понимает, она дает ответ, которого вовсе не понимает.

Мне хотелось бы, чтобы какой-нибудь человек, хорошо знакомый с ходом развития детского ума, взялся составить для детей катехизис¹⁴. Это, быть может, была бы самая полезная книга, какую только когда написали, и она, по моему мнению, делала бы очень большую честь ее автору. Однако несомненно, что, если б эта книга была хороша, она почти не походила бы на наши.

Такой катехизис будет пригоден лишь тогда, когда ребенок по одним вопросам сам от себя будет составлять ответы, не заучивая их; само собою разумеется, что и он, в свою очередь, будет иной раз в состоянии задавать вопросы. Для уяснения того, что я хочу сказать, мне нужно было бы дать нечто в роде образца; но я хорошо чувствую, чего мне недостает для составления подобного образца. Попытаюсь по крайней мере дать хоть какое-нибудь понятие об этом.

Чтобы дойти до первого вопроса нашего катехизиса, речь, по моему соображению, должна была бы начинаться приблизительно так:

Н я н я

Помнишь ты, когда мать твоя была девочкой?

М а л ю т к а

Нет, нянюшка.

Н я н я

Почему же нет? Ведь у тебя такая хорошая память.

М а л ю т к а

Да меня тогда не было на свете.

Н я н я

Значит, ты не все время жила?

М а л ю т к а

Нет.

Н я н я

А всегда будешь жить?

М а л ю т к а

Да.

Н я н я

Ты — молодая или старая?

М а л ю т к а

Я — молодая.

Н я н я

А бабушка твоя — молодая или старая?

М а л ю т к а

Она старая.

Н я н я

А была она молодой?

М а л ю т к а

Да.

Н я н я

Почему же она теперь не молодая?

М а л ю т к а

Потому что состарилась.

Н я н я

И ты состаришься, как она?

М а л ю т к а

Не знаю *.

Н я н я

А где твои прошлогодние платья?

М а л ю т к а

Они распороты.

* Если всюду, где я поставил слова: «Не знаю», малютка отвечает иначе, то нужно не полагаться на ответ, а тщательно разобрать его с нею.

Н я н я

Почему же их распороли?

М а л ю т к а

Потому что они были бы мне слишком малы.

Н я н я

А почему они были бы тебе слишком малы?

М а л ю т к а

Потому что я подросла.

Н я н я

Ну, а еще ты будешь расти?

М а л ю т к а

Да, конечно!

Н я н я

А чем становятся взрослые девушки?

М а л ю т к а

Они становятся женщинами.

Н я н я

А что делается с женщинами?

М а л ю т к а

Они становятся матерями.

Н я н я

А с матерями что делается?

М а л ю т к а

Они становятся старыми.

Н я н я

Значит, и ты станешь старой?

М а л ю т к а

Да, когда стану матерью.

Н я н я

А что делается со старыми людьми?

М а л ю т к а

Не знаю.

Н я н я

Что стало с твоим дедушкой?

М а л ю т к а

Он умер *.

Н я н я

Почему же он умер?

М а л ю т к а

Потому что был стар.

Н я н я

Что же, значит, бывает с людьми старыми?

М а л ю т к а

Они умирают.

Н я н я

Значит, и ты, когда будешь старой...

М а л ю т к а (*прерывая ее*)

О нет, нянюшка, я не хочу умирать.

Н я н я

Дитя мое! никто не хочет умирать, а все умирают.

М а л ю т к а

Как, и мама умрет?

* Малютка так ответит, потому что слышала это; но нужно проверить, имеет ли она какое-нибудь правильное понятие о смерти, ибо эта идея не так проста и не так доступна пониманию детей, как думают. В небольшой поэме об Авеле ¹⁵ можно видеть пример того, как давать им об этом понятие. Это прелестное произведение дышит восхитительной простотой, которая в высшей степени пригодна для беседы с детьми.

Н я п я

Как и все. Женщины стареют так же, как и мужчины, а старость ведет к смерти.

М а л ю т к а

Что же нужно делать, чтобы дольше не стареть?

Н я н я

Благоразумно жить, пока молод!

М а л ю т к а

Нянюшка! я всегда буду благоразумной.

Н я н я

Тем лучше для тебя. Но все-таки, неужели ты думаешь жить всегда?

М а л ю т к а

Когда я буду очень, очень старой...

Н я н я

Ну, что же?

М а л ю т к а

Да ведь ты говоришь, что когда сделаешься старой, то непременно нужно умереть.

Н я н я

Значит, ты когда-нибудь умрешь?

М а л ю т к а

Да...

Н я н я

А кто родился раньше тебя?

М а л ю т к а

Отец мой и мать.

Н я н я

А до них кто жил?

М а л ю т к а

Их отец и мать.

Н я н я

А кто будет жить после тебя?

М а л ю т к а

Мои дети.

Н я н я

А после них кто будет жить?

М а л ю т к а

Их дети.

И т. д.

Следуя этому пути, можно с помощью наглядной индукции найти для человеческой расы, как и для всякой вещи, начало и конец, т. е. отца и мать, не имеющих отца и матери, и детей, у которых не будет детей*.

И лишь после длинного ряда подобных расспросов первый вопрос катехизиса окажется достаточно подготовленным: только тогда можно задать его и ребенок сможет его понять. Но какой неизмеримый предстоит еще скачок от этого и до второго вопроса, в котором содержится, так сказать, определение Божественной Сущности! Когда будет наполнен этот промежуток? Бог есть Дух! А что такое Дух? Не маленькой девочке решать эти вопросы; самое большее — она может задать их. Тогда я ответил бы ей просто: «Ты спрашиваешь, что такое Бог; это нелегко сказать: Бога нельзя ни слышать, ни видеть, ни осязать; Его познают лишь из дел Его. Чтобы судить, что Он такое, нужно знать, что Он создал».

Если наши догматы все одинаково истинны, отсюда не следует, что они одинаково важны. Для славы Божьей не требуется, чтобы истина нам была известна во всех вещах.

Но для человеческого общества и для каждого из его членов важно, чтобы всякий человек знал и исполнял обязанности, налагаемые на него Божеским законом по отношению к ближним его и по отношению к нему самому. Вот чему мы должны непрестанно поучать друг друга, вот в чем отцы и матери обязаны особенно наставлять своих детей. Каждый должен знать, что существует Властитель судебных людских, по отношению к которому все мы — дети, который предписывает нам быть справедливыми, любить друг друга, быть благо-

* Разум не допускает применения к человеческим поколениям идеи вечности. Великая числовая последовательность, сводимая к акту, несовместима с этой идеей.

детельными и милосердными, исполнять свои обязательства по отношению ко всем людям, даже по отношению к нашим и Его врагам, что видимое счастье этой жизни ничтожно, что будет другая жизнь после этой, в которой Высшее Существо является воздателем для добрых и судьей для злых. Эти и подобные догмы важнее всего преподавать юношеству; они должны быть предметом убеждения всех граждан. Кто отвергает их, тот, без сомнения, заслуживает наказания: он возмутитель порядка и враг общества. Кто обходится без них и хочет подчинить нас своим частным мнениями, тот противоположным путем приходит к тому же: чтобы установить порядок на свой лад, он нарушает мир; в своей безрассудной гордости он делает себя истолкователем Божественной воли, требует во имя Бога поклонения от людей и почитания, он делает себя Богом, насколько это возможно на его месте, его следовало бы наказать как святотатца, если его не наказали бы за его нетерпимость.

Итак, держите ваших детей всегда в тесном кругу догматов, относящихся к морали. Убеждайте их, что полезнее всего для нас то знать, что научает нас хорошо поступать. Не делайте из ваших девочек теологов и резонеров, но приучайте их сознавать всегда, что Бог все видит, что Он свидетель их действий, их мыслей, их добродетели и удовольствий, приучайте делать добро без чванства, потому, что Он любит это, терпеть бедствия без ропота, потому что Он вознаграждает за это, быть, наконец, во все дни своей жизни такими, какими им хотелось бы предстать перед Ним. Вот истинная религия, вот единственная, не допускающая ни злоупотребления, ни безбожия, ни фанатизма.

Впрочем, не нужно упускать из виду, что до того возраста, когда разум проясняется и зарождающееся чувство пробуждает совесть, благом и злом для юных особ является то, что признали за таковое окружающие их люди. Что приказывают им, то — благо; что запрещают, то — зло; больше этого им и не приходится знать. Отсюда видно, насколько важен — для них еще более, чем для мальчиков, — выбор лиц, которым придется окружать их и иметь над ними некоторую власть. Наконец, придет момент, когда они начнут судить о вещах сами по себе, и тогда пора будет переменить план их воспитания.

Но я, быть может, слишком уже много толкую об этом. Что станет с женщинами, если мы поставим для них законом лишь общественные предрассудки? Не станем унижать до такой степени пола, который нами управляет и почитал бы нас, если б мы его не уничижали. Существует для всего человеческого рода регулятор, предшествующий людскому мнению. С неуклонным направлением этого

регулирующего начала должны сообразоваться все прочие начала; оно судит о самом предрассудке; и насколько людская оценка согласуется с ним, лишь настолько она и должна быть авторитетом для нас.

Это регулирующее начало есть внутреннее чувство. Я не стану повторять сказанного раньше; мне достаточно заметить, что если эти два начала не содействуют воспитанию женщины, то оно всегда будет неудовлетворительным. Чувство без людского мнения не даст им той душевной деликатности, которая добрую нравственность украшает светскою честью, а людское мнение без чувства создает лишь женщин лживых и бесчестных, которые внешность ставят на место добродетели.

Таким образом, для них важно развивать ту способность, которая служит посредницей между двумя руководителями, которая не дает заблуждаться совести и исправлять заблуждения предрассудка. Эта способность есть разум. Но сколько вопросов возникает при этом слове! Способны ли женщины к основательному рассуждению? важно ли для них развивать эту способность? с успехом ли они будут развивать ее? полезно ли это развитие для тех функций, которые на них возложены? совместимо ли оно с простотою, приличною им?

Различие точек зрения при решении этих вопросов ведет к тому, что, вдаваясь в противоположные крайности, одни ограничивают сферу женщины шитьем и вязаньем в кругу семьи, среди своих служанок, и делают ее таким образом первою служанкою хозяина, другие, не довольствуясь обеспечением за нею прав ее, заставляют ее захватывать и наши права; ибо ставить ее выше нас в качествах, свойственных ее полу, и делать равной нам во всем остальном — не значит ли это переносить на жену первенство, которое природа дает мужу?

Резоны, побуждающие мужчину к сознанию своих обязанностей, очень несложны; еще проще резоны, побуждающие женщину к сознанию обязанностей. Повиновение и верность, которыми она обязана перед мужем, нежность и заботливость, которыми она обязана перед детьми, являются столь естественными и наглядными последствиями ее положения, что она не может, по чистой совести, не отозваться на внутреннее чувство, руководящее ею, или отказаться от своей обязанности, если только не совсем еще испорчены ее естественные склонности.

Я не безусловно порицаю требование, чтобы женщина ограничивалась одними занятиями своего пола и чтобы ее оставляли в глубоком невежестве относительно всего остального; но для этого нужны

были бы совершенно простые, совершенно не испорченные общественные нравы или очень уединенный образ жизни. А в больших городах и в среде испорченных мужчин такую женщину слишком легко было бы оболетить; ее добродетель часто зависела бы только от случайности: в наш философский век ей нужна добродетель испытанная; нужно, чтобы она заранее знала и то, что могут ей сказать, и то, что она должна подумать об этом.

Кроме того, будучи подчинена суждению мужчин, она должна заслужить их уважение; особенно она должна добиться его от своего супруга; она должна не только внушать ему любовь к ее личности, но и заслужить от него одобрение своему поведению; она должна оправдать перед обществом сделанный им выбор и украсить мужа той честью, которую воздают женщине. А как она возьмется за все это, если она не знает наших учреждений, если она не знает толку в наших обычаях, в наших приличиях, если она не знакома ни с источником людских суждений, ни со страстями, определяющими эти суждения? Раз она зависит одновременно и от своей собственной совести, и от мнений других людей, она должна научиться сравнивать эти два регулирующие начала, примирять их и предпочитать первое лишь тогда, когда они находятся во взаимном противоречии. Она становится судьей своих судей, она решает, когда должна подчиниться им и когда должна отказать им. Прежде чем отвергнуть или допустить их предрассудки, она взвешивает их; она научается восходить к источнику их, предупреждать их, делать благоприятными для себя; она заботится, чтобы никогда не навлекать на себя порицания, если долг не мешает ей избежать его. Все это можно хорошо сделать лишь в том случае, если развивают ее ум и рассудок.

Я снова возвращаюсь к основному принципу и нахожу в нем разрешение всех своих затруднений. Я изучаю существующее, разыскиваю его причину и нахожу, наконец, что существующее хорошо. Я вхожу в открытые дома, где хозяин и хозяйка сообща принимают гостей. Оба они получили одинаковое воспитание, оба одинаково приветливы, оба одинаково одарены вкусом и умом, оба одушевлены одним и тем же желанием — хорошо принять гостей, чтобы, уходя, каждый остался доволен ими. Муж не упускает ни одного случая проявить ко всякому свое внимание; он идет туда, идет сюда, за всем досматривает и занят тысячью мелочей; ему бы хотелось всему превратиться во внимание. Жена остается на своем месте; вокруг нее собрался маленький кружок — можно подумать, что он скрывает от нее остальное общество; однако ж она успевает заметить все, что ни происходит, успевает поговорить со всяким, кто только входит; она всячески хлопочет о том, что могло бы всех заинтересовать;

она никому не делает ничего такого, что могло бы быть ему неприятно, и, ни в чем не нарушая порядка, последнего в обществе не забывает так же, как и первого. Подали кушанье, садятся за стол. Мужчина, узнав, кто с кем ближе сходится, сообразно с этим и размещит всех; женщина, ничего не зная об этом, все-таки не обманется: она прочтет это сходство в глазах, в обращении, каждый окажется на том месте, где ему хочется быть. Я не говорю уже о том, что при подаче кушаний никто не бывает забыт. Хозяин дома ходит кругом, и ему не трудно никого не забыть; но женщина угадывает, на что вы смотрите с удовольствием, и сейчас же предложит вам это; говоря с соседом, она кидает взоры на конец стола; она умеет различить, кто потому не ест, что не голоден, и кто не смеет взять себе или попросить, потому что неловок или робок. Выходя из-за стола, каждый уверен, что она только о нем и думала: всем думается, что ей некогда было съесть хоть один кусок, — на самом же деле она ела больше, чем кто-либо.

Когда все разошлись, заходит речь о том, что происходило. Мужчина рассказывает, что ему говорили, что сказали и сделали те, с кем он вел беседу. Женщина же, если и не всегда бывает более точной в этом отношении, зато видела, что было сказано, совсем шепотом, на другом конце залы; она зато знает, что такой-то думал, на что намекали такие-то слова или такой-то жест; не было сделано ни одного выразительного движения, на которое у ней не оказалось бы совершенно готового толкования, почти всегда согласного с истиной.

Тот же склад ума, благодаря которому светская женщина отличается в искусстве держать дом, помогает кокетке отличаться в искусстве забавлять сразу нескольких воздыхателей. Искусство кокетства требует еще более тонкого распознавания, чем искусство быть вежливым; ибо если приветливо-вежливая женщина бывает таковою по отношению ко всем, то она всегда будет иметь достаточный успех; но кокетка, благодаря этому неловкому однообразию, скоро потеряет свою власть; пытаясь оказать услуги всем своим любезникам, она этим только оттолкнет их от себя. В обществе манеры, усвоенные при обхождении со всеми людьми, не перестают нравиться и каждому отдельно: лишь бы встретить хороший прием, а там уж никто не станет строго относиться к предпочтению, оказанному другим; но в деле любви благосклонность, которая не бывает чрезвычайною, становится обидою. Для чувствительного мужчины во сто раз лучше одному получить дурной прием, чем встретить ласки вместе со всеми другими: для него нет ничего хуже того, что он не отличен от других. Таким образом, женщина, которая хочет, чтобы за нею ухаживали многие, должна убедить каждого из них, что она его именно предпо-

читает, и притом убедить на глазах всех прочих, которых, в свою очередь, должна убедить, на его глазах, в том же.

Если хотите видеть кого-нибудь в затруднительном положении, то посадите мужчину между двумя женщинами, с которыми у него тайные связи, потом наблюдайте, какой у него будет глупый вид. Поместите при таких же обстоятельствах женщину между двумя мужчинами (и конечно, за примером придется ходить не дальше), и вы будете изумлены ловкостью, с которою она проведет их обоих и заставит каждого из них смеяться над другим. Меж тем, если б эта женщина выказывала им одинаковое доверие и обращалась с ними с одинаковою короткостью, как они могли бы хоть на минуту быть обманутыми ею? Обращаясь с ними одинаково, не показывала ли она бы этим, что они имеют на нее одни и те же права? О, нет! Она гораздо лучше берется за дело! Она не только не одинаково с ними обходится, но еще нарочно выказывает неравенство в обращении; она умудряется так устроить, что тот, с кем она ласкова, объясняет это нежностью к нему, а тот, с кем она неприветлива, думает, что это с досады. Таким образом, каждый, довольный своей участью, видит, что она занята им одним, тогда как в действительности она занята только сама собою.

При общем стремлении нравиться кокетство действительно дает ей в руки подобные средства: капризы отталкивали бы, если б не было в них мудрой умеренности; а если она искусно пускает их в дело, то этим она обращает их в самые крепкие цепи для своих невольников.

Usa ogn' arte la donna, onde sia colto
Nella sua rete alcun novello amante:
Ne con tutti, ne sempre un stesso volto
Serba, ma cangia a tempo atto e' sembiante.¹⁶

На чем основано это искусство, как не на тонких и непрерывных наблюдениях, позволяющих ей видеть каждую минуту, что происходит в сердцах мужчин, и придавать каждому тайному движению, замечаемому ею, желательную силу, чтобы подавить его или ускорить? Меж тем учением ли приобретается это искусство? Нет, оно нарождается вместе с женщинами; они все обладают им, а мужчины никогда не бывают наделены им в той же степени. Это одна из отличительных черт женского пола. Присутствие духа, проницательность, тонкость наблюдения — вот наука женщины; ловкость в пользовании всем этим — вот талант их.

Вот что существует, и мы видели, почему это должно существовать. «Женщины лживы», — говорят нам. Такими они делаются. Дар,

им свойственный, не лживость, а ловкость; если не извращены наклонности их пола, то они, даже когда лгут, не бывают лживыми. Зачем вы обращаетесь к их устам, когда не уста их должны говорить? Наблюдайте их взоры, цвет лица, дыхание, боязливость вида, слабость сопротивления — вот язык, которым наделяет их природа, чтобы отвечать вам. Уста всегда говорят: «Нет» — и должны так говорить. Но тон, которым это говорится, не всегда один и тот же, а тон этот не умеет лгать. Разве женщина имеет не те же потребности, как и мужчина, хотя у нее и нет такого же права выражать их? Это было бы слишком жестоко, если бы даже при законных желаниях у нее не было средства выражать их, равнозначащего тому, которым она не смеет пользоваться. Неужели стыдливость должна делать ее несчастною? Неужели не видите, какое ей нужно искусство, чтобы передавать свои стремления, не раскрывая их? Какая ловкость нужна ей, чтобы заставить украсть у ней то, что ей самой очень хочется отдать! Как важно для нее научиться трогать сердце мужчины, не подавая ему вида, что она думает о нем! Каким очаровательным языком является яблоко Галатеи и ее неловкое бегство! ¹⁷ Что нужно ей еще прибавлять к этому? Неужели она должна сказать пастуху, который следует за нею под ивы, что она бежит туда с целью привлечь его? В таком случае она в некотором роде лгала бы, ибо она не увлекала бы. Чем больше у женщины сдержанности, тем больше ей требуется искусства даже по отношению к мужу своему. Да, я утверждаю, что, удерживая кокетство в должных пределах, тем самым его делают скромным и истинным, преобразуют в необходимое условие порядочности.

«Добродетель едина, — очень удачно говорил один из моих противников, — ее нельзя разложить, допуская одну часть и отвергая другую». Когда ее любят, то любят во всей ее неприкосновенности и не допускают в сердце по возможности, а в уста — никогда тех чувств, которых не следует питать. Нравственная истина заключается не в том, что существует, но в том, что хорошо; что дурно, того не должно было бы и существовать, в том не следует и признаваться, особенно если это сознание ведет к таким последствиям, которых без этого и не было бы. Если б я имел поползновение украсть и высказыванием своего намерения соблазнял бы и другого быть моим соучастником, то объявлять о своем поползновении разве не значит действительно поддаваться ему? Почему же говорите вы, что стыдливость делает женщин лживыми? Неужели женщины, легче всего теряющие ее, правдивее других? Как бы не так! Они в тысячу раз лживее. До такой степени испорченности доходят только путем пороков, только тогда, когда их все сохраняют при себе и когда они

царят, при помощи интриг и лжи *. Напротив, женщины, которые имеют еще стыд и не гордятся своими проступками, которые умеют скрыть свои вожделения даже от того, кто внушает их, от которых труднее всего вырвать любовные признания, — эти женщины бывают, кроме того, самыми правдивыми, наиболее искренними, наиболее постоянными во всех своих обязательствах, такими, на слово которых больше всего можно положиться.

Я знаю один только пример, который можно было бы привести как известное исключение из этих наблюдений; это г-жа де Ланкло¹⁹. Но зато г-жа де Ланкло и прослыла чудом. Среди презрения к добродетелям своего пола она, говорят, сохранила добродетели нашего пола: хвалят ее откровенность, прямоту, добросовестность в сношениях, верность в дружбе; наконец, к довершению ее славы, говорят, что она сделалась мужчиной. В добрый час! Но, при всей ее высокой репутации, я все-таки не захотел бы этого «мужчину» иметь своим другом, точно так же, как и своей возлюбленной.

Все это не так неуместно здесь, как кажется. Я вижу, к чему клонятся правила новейшей философии, поднимающей на смех стыдливость этого пола и его мнимое коварство; я вижу, что философия эта вернее всего приведет к тому, что женщины нашего века лишатся и той небольшой доли чести, которая осталась у них.

На основании приведенных соображений, думаю, можно определить вообще, какого рода развитие прилично женскому уму и на какие предметы следует с самой юности направлять их размышления.

Обязанности этого пола, как я уже сказал, на взгляд кажутся более легкими, чем это бывает при выполнении их. И женщины прежде всего должны научиться любить их, во внимание к преимуществам, ими доставляемым: это единственное средство сделать их легко-выполнимыми. Каждое положение и каждый возраст имеет свои обязанности. Узнать их можно скоро, лишь бы полюбить их. Уважайте свое женское достоинство, — и, в какой бы класс людей вас небо ни

* Я знаю, что женщины, которые насчет известного пункта открыто высказывали свою точку зрения, очень хвастаются своей откровенностью и клятвенно уверяют, что, за исключением этого, все остальное в них в высшей степени заслуживает уважения; но я хорошо знаю и то, что они в этом никогда никого не убедили, кроме глупцов. Раз сброшена самая крепкая узда для их пола, что остается для сдерживания их? И какою честью они станут дорожить, отказавшись от той, которая свойственна их полу? Раз они дали полную волю своим страстям, им нет никакого интереса противиться этим страстям: *Nec foemina amissa pudicitia alia inveniet*¹⁸. Какой автор знал когда-либо лучше писателя, сказавшего эти слова — сердце человеческое у того и у другого пола.

поставило, вы всегда будете хорошою женщиною. Все дело в том, чтобы быть тем, чем создала нас природа; а мы всегда чересчур стремимся быть тем, чем желают нас видеть люди.

Исследование абстрактных и умозрительных истин, исследование принципов, аксиом науки, всего того, что стремится к обобщению идей, не под силу женщинам: все их занятия должны относиться к практической сфере; их дело — применять принципы, которые открыл мужчина, и производить наблюдения, которые приводят мужчину к установлению этих принципов. Все размышления женщин во всем, что непосредственно не связано с их обязанностями, должны быть направлены на изучение людей или на приобретение приятных познаний, единственная основа которых — вкус; ибо труды гениальные превосходят их понимание; нет у них также достаточной правильности суждения и внимательности, чтобы успевать в науках точных; что же касается физических знаний, то судить об отношениях между существами, одаренными чувствительностью, и о законах природы — дело того из двух, кто наиболее деятелен, наиболее подвижен, кто больше видит предметов, у кого больше силы и кто больше ее упражняет. Женщина, слабая и незнакомая с внешним миром, взвешивает и судит, какие двигатели может пустить в ход для восполнения своей слабости, и этими двигателями оказываются страсти мужчины. У нее механизм сильнее нашего; все рычаги его способны двигать человеческое сердце. Она должна обладать искусством заставлять нас делать все то, чего женский пол не может сделать сам собою, но что необходимо ему или приятно; нужно, следовательно, чтобы она основательно изучила ум мужчины, — не отвлеченно, не ум мужчины вообще, но ум мужчин, ее окружающих, ум людей, которым она подчинена, путем ли закона или путем людского мнения. Нужно, чтобы она научилась по их речам, по их поступкам, взглядам, жестам узнавать их чувствования. Ей нужно уметь своими речами и действиями, своими взглядами и жестами внушать им чувствования, какие ей угодно, не подавая даже виду, что она это делает. Они лучше ее будут философствовать о человеческом сердце; но она будет лучше их читать в сердце людей. Дело женщин — открывать, так сказать, экспериментальную нравственность, наше дело — приводить ее в систему. У женщины больше ума, у мужчины больше гения; женщина наблюдает, а мужчина рассуждает: из этой совместной работы является в результате самое светлое разумение и самое полное знание, какое только может ум человеческий приобрести сам собою, — словом, самое верное знакомство с собою и другими, какое только доступно нашему роду. Вот каким образом искусством может беспрестанно совершенствоваться то орудие, которое дала природа.

Свет — вот книга для женщин; если они плохо в ней читают, это их вина, или же это ослепляет их какая-нибудь страсть. Однако же истинная мать семейства не только не бывает светской женщиной, но даже почти столь же безвыходно заключена в своем доме, как и монахиня в монастыре. Нужно было бы, следовательно, с молодыми особами, которых отдают замуж, поступать так, как поступают или должны поступать с теми, которых отдают в монастыри; нужно показать им удовольствия, ими покидаемые, прежде чем они отрекутся от них, а иначе лживые картины этих удовольствий, незнакомых им, могут со временем расстроить их сердце и смутить счастье их уединения. Во Франции девушки живут в монастырях, а женщины рыскают в свете. У древних было совершенно наоборот: девушки участвовали, как я сказал, во многих играх и в общественных празднествах, а женщины жили в уединении. Этот обычай был благоразумнее и лучше поддерживал нравственность. Некоторое кокетство позволительно девушкам-невестам; веселиться — вот их главное занятие. У женщин другие заботы дома — им не предстоит уже отыскивать мужей; но им была бы невыгодна подобная реформа, а они, к несчастью, задают тон. Матери! сделайте по крайней мере своими подругами дочерей ваших. Наделите их здравым смыслом и честною душой, а затем не прячьте от них ничего такого, на что может смотреть целомудренное око. Бал, празднества, игры, даже театр, все, что, при неумении видеть, обольщает неблагоприятную молодежь, — все это здоровым глазам может быть показано без риска. Чем лучше разглядят они эти шумные удовольствия, тем скорее они почувствуют к ним отвращение.

Я слышу крик, который поднимается против меня. Какая девушка устоит перед этим опасным примером? Они едва увидят свет, как уже все теряют голову и ни одна из них не хочет расстаться с ним. Это возможно; но прежде чем предложить им эту обманчивую картину, хорошо ли вы подготовили их, умеют ли они смотреть на нее без волнения? Хорошо ли вы описали им предметы, ею представляемые? Такими ли вы изобразили их, каковы они в действительности? Хорошо ли вооружили их против обманов тщеславия? Развили ли в их юном сердце вкус к истинным удовольствиям, которых не найдешь в этой сутолоке? Какие предосторожности, какие меры приняли вы, чтобы предохранить их от ложного вкуса, вводящего их в обман? Вы не только ничего не дали их уму для борьбы с властью общественных предрассудков, но даже питали эти последние; вы их заранее заставили полюбить все пустые развлечения, которые они встретят. Вы и тем заставляете их любить эти удовольствия, что сами предаетесь им. У молодых особ, вступающих в свет, нет иной воспитатель-

ницы, кроме матери, которая часто безумнее их самих и не может показать им предметы в ином свете, чем видит их сама. Ее пример сильнее самого рассудка и оправдывает их в собственных глазах; авторитет же матери служит для дочери извинением, не допускающим возражений. Если я высказываю желание, чтобы сама мать вводила дочь в свет, то делаю это в том предположении, что она покажет ей свет таким, каков он в действительности.

Зло является еще раньше. Монастыри суть настоящие школы кокетства, но не того добропорядочного кокетства, о котором я говорил, а того, которое порождает все странности женщин, создает самых сумасбродных жеманниц. Выходя оттуда и попадая вдруг в шумные общества, молодые женщины сразу чувствуют себя на своем месте. Они для того и были воспитаны, чтобы жить в этой среде; нужно ли удивляться, что они здесь хорошо себя чувствуют? Хотя я высказываю свое мнение не без опасения принять предрассудок за действительное наблюдение, но все-таки мне кажется, что в протестантских странах вообще больше семейной привязанности, больше достойных супругов и нежных матерей, чем в странах католических; а если это так, то нельзя сомневаться, что эта разница обусловлена отчасти монастырским воспитанием.

Чтобы любить тихую семейную жизнь, нужно быть с нею знакомым; нужно с самого детства почувствовать ее сладость. Лишь в родительском доме можно получить любовь к своему собственному дому, и ни одна женщина, воспитанная не матерью своей, не будет находить удовольствия в воспитании своих детей. К несчастью, в больших городах уже не существует домашнего воспитания. Общество там до того беспредельно и смешанно, что не остается уже убежища для уединения, и даже у себя дома всякий бывает на глазах публики. Благодаря совместной жизни в обществе люди не имеют уже семьи, едва узнают своих родителей: их встречают как посторонних; простота семейных нравов исчезает вместе с исчезновением нежной короткости отношений, которая и придавала им прелесть. Таким-то образом вместе с молоком всасывается привязанность к удовольствиям, свойственным веку, и к правилам, в нем господствующим.

На девушек налагают наружное стеснение с целью найти олухов, которые возьмут их замуж за их манеру держать себя. Но наблюдайте хоть минуту за этими молодыми особами: под сдержанным видом они плохо маскируют алчное стремление, их пожирающее, у них даже в глазах читается горячее желание подражать матерям своим. Они алчут не мужа, а вольности, неразрывной с браком. К чему тут муж, если есть столько средств обойтись без него? Но муж все-таки

нужен, чтобы прикрыть эти средства *. Скрамность у них на лице, а в глубине сердца у них распутство: притворная скромность сама служит признаком этого; они для того притворно и выказывают ее, чтобы поскорее развязаться с нею. Женщины Парижа и Лондона! Извините меня, умоляю вас. Ни одна местность не обходится без чудес; но что касается меня, я не знаю их, и если хоть у одной между вами душа поистине честная, то, значит, я ничего не понимаю в ваших учреждениях.

Все эти разнообразные способы воспитания одинаково развивают в молодых особах вкус к удовольствиям большого света и страсти, скоро возникающие из этого вкуса. В больших городах испорченность начинается вместе с началом жизни, а в маленьких она начинается с началом рассудка. Юные провинциалки, наученные презирать блаженную простоту своих нравов, торопятся попасть в Париж, чтобы заразиться испорченностью наших нравов; пороки, украшенные прекрасным именем талантов, — единственная цель их путешествия; и если по приезде им стыдно, что они так далеко отстали от благородной распушенности тамошних женщин, они зато скоро становятся достойными быть столичной женщиной. Где, по вашему мнению, начинается зло: в тех ли местах, где оно замышляется, или там, где его совершают?

Я не хочу, чтобы разумная мать привозила из провинции свою дочь в Париж с целью показывать ей эти картины, столь гибельные для других; но я говорю, что если это случится, то или эта девушка, значит, дурно воспитана, или эти картины будут для нее мало опасными. Кто имеет вкус, чувство, кто любит честное, тот не найдет их такими привлекательными, какими они кажутся для тех, кто поддается их очарованию. В Париже мы встречаем юных ветрениц, которые торопятся перенять местный тон и месяцев шесть одеваются по моде, чтобы потом всю жизнь подвергаться насмешкам; но кому известны те, которые, перепугавшись всей этой суеты, возвращаются в провинцию довольными своим жребием, так как они сравнили его с тем, которому другие завидуют? Сколько раз я видел, как молодые женщины, привезенные в столицу услужливыми мужьями, имевшими возможность поселиться там, сами отговаривали их от этого, назад ехали охотнее, чем туда, и говорили с умилением накануне отъезда: «Ах, вернемся в нашу хижину: там живут счастливее, чем в здешних дворцах». Мы не знаем всей той массы честных людей, которые не

* Путь мужчины в юности был одной из четырех вещей, которых мудрец не мог понять; пятой вещью было бесстыдство жены прелюбодейной, которая «поела и обтерла рот свой и говорит: я ничего худого не сделала» (Притчи, XXX, 20).

преклонили колена перед идолом и презирают неразумное поклонение ему. Шум поднимают лишь безумные; а умные женщины не производят сенсаций.

А потому если, несмотря на общую испорченность, несмотря на всеобщие предрассудки, несмотря на дурное воспитание девушек, многие все-таки сохраняют испытанную рассудительность, то что будет, если эту рассудительность будут поддерживать соответственными наставлениями или, лучше сказать, если ее не станут извращать порочными наставлениями? Ведь все дело и состоит в том, чтобы сохранять или восстанавливать природные чувствования. Это вовсе не значит, что следовало надоедать молодым девушкам вашими длинными проповедями или читать им вашу сухую мораль. Нравоучения у обоих полов убивают всякое хорошее воспитание. Скучные уроки годны лишь на то, чтобы внушать ненависть и к тем, кто их преподает, и ко всему преподаваемому. Дело не в том, чтобы, рассуждая с молодыми особами, пугать их обязанностями или отягчать иго, наложенное на них природою. Излагая им эти обязанности, будьте ясны и удобопонятны; не допускайте их думать, что исполнять эти обязанности не очень-то весело, — прочь сердитый вид, прочь гордая осанка! Все, что должно идти к сердцу, должно из него же исходить; их нравственный катехизис должен быть так же короток и так же ясен, как и катехизис религиозный, но он не должен быть таким же суровым. Покажите им в самых обязанностях источник для удовольствий и основание их прав. Разве так трудно любить, чтобы быть любимой, стать любезной, чтобы быть счастливой, заслужить уважение, чтобы добиться себе повиновения, уважать себя, чтобы заслужить уважение? Как прекрасны эти права, как они почтенны; как они дороги сердцу мужчины, когда женщина умеет внушать к ним уважение! Чтобы ими пользоваться, для этого не нужно ждать ни совершеннолетия, ни старости. Ее власть начинается вместе с рождением добродетелей; едва разовьются ее увлекательные стороны, как она уже царствует с помощью кротости своего характера, и делает скромность свою очень внушительной. Какой нечувствительный и жестокий мужчина не смягчит своей гордости и не проявит большой внимательности, когда он находится рядом с шестнадцатилетнею девушкой, любезной и умной, мало говорящей и много слушающей, скромной в обращении и учливой в разговорах, не забывающей, из-за красоты своей, ни своего пола, ни молодости лет своих, умеющей заинтересовать даже своею робостью и привлечь на себя такое же внимание, с каким она смотрит на всех?

Эти знаки внимания, хотя и чисто внешние, немаловажны: они основаны не только на одном чувственном влечении, они говорят о

внутреннем сознании, присущем нам всем, — сознании, что женщины суть естественные судьи достоинства мужчины. Кто хочет быть презираемым женщинами? Никто в мире, даже и тот, кто не хочет уже любить их. Я говорю им такие жесткие истины, а меж тем неужели вы думаете, что суждения их для меня безразличны? Нет: одобрение их для меня дороже вашего, читатели, — вы часто скорее оказываетесь женщинами, чем они. Презирая их нравы, я все-таки хочу отдать честь их справедливости; мне мало дела до того, что они ненавидят меня, если только я вынуждаю их уважать меня.

Сколько великих дел совершили бы с помощью этой пружины, если б умели пускать ее в ход! Горе веку, где женщины теряют свое влияние и где суждение их не имеет уже никакого значения для мужчины. Это последняя степень развращения. Все народы, отличавшиеся нравственностью, почитали женщин. Посмотрите на Спарту, посмотрите на германцев, на Рим, — Рим, жилище славы и доблести, если только эти последние имели когда жилище на земле. Там женщины чествовали подвиги великих полководцев, там они всенародно оплакивали отцов отечества, там их обеты или траур были священными, как самый торжественный приговор республики. Все великие перевороты шли там от женщин; через женщину Рим приобрел свободу ²⁰, через женщину плебеи добились консульства ²¹, женщина положила конец тирании децемвиров ²², женщинами осажденный Рим был избавлен от руки изгнанника ²³. Галантные французы! что вы сказали бы, видя перед собой эту процессию, столь смешную в ваших насмешливых глазах? Вы провожали бы ее свистками. Каким равнодушным взором мы смотрим на те же самые предметы! Но, быть может, мы все правы. Образуйте такой кортеж из нарядных французских дам, и мне трудно будет представить себе что-нибудь более неприличное; но составьте его из римлянок, и вы привлечете взоры вольсков и сердце Кориолана.

Я скажу больше — я буду утверждать, что добродетель столь же благоприятствует любви, как и другим правам природы, и что авторитет любовниц не менее выигрывает от нее, чем авторитет жен и матерей. Нет истинной любви без энтузиазма, и нет энтузиазма без предмета, олицетворяющего совершенство, действительное или химерическое, но все-таки существующее в воображении. Чем стали бы восторгаться любовники, если для них не существовало бы совершенства и если в любимом существе они видели бы лишь предмет чувственных наслаждений? Нет, не этим путем душа воспламеняется и отдается тем возвышенным восторгам, которыми бредит человек влюбленный и которые составляют всю прелесть его страсти. Я согласен, что в любви все лишь иллюзия, но есть в ней и действитель-

ное: это чувства, внушаемые ею по отношению к истинно прекрасному, которое она нас заставляет любить. Это прекрасное заключается не в любимом предмете, оно — плод наших заблуждений. Но что за важность! Ведь мы все-таки приносим все свои чувства в жертву этому воображаемому идеалу? Ведь сердце наше тем не менее проникается добродетелями, которые мы приписываем любимому существу? Ведь мы тем не менее отрешаемся от своего низкого эгоизма? Какой истинный любовник не был бы готов пожертвовать жизнью за свою возлюбленную? А возможна ли чувственная и грубая страсть в человеке, который хочет умереть? Мы смеемся над рыцарями! Это потому, что они знали любовь, а нам знакомо уже одно только распутство. Когда эти романтические взгляды стали делаться смешными, перемена эта была не столько делом разума, сколько делом дурных нравов.

Каков бы ни был век, естественные отношения не меняются, понятия о приличном и неприличном, из них вытекающие, остаются одни и те же, предрассудки, принимая имя разума, меняют только внешний вид свой. Всегда будет великим и прекрасным делом — быть своим собственным властелином, хотя бы для того, чтобы подчиниться потом фантастическим мнениям; истинно честные побуждения всегда будут понятны сердцу всякой рассудительной женщины, которая умеет в своем положении отыскать жизненное счастье. Целомудрие должно быть особенно приятной добродетелью для прекрасной женщины, обладающей некоторым благородством души. Когда она видит весь свет у своих ног, она торжествует не только над всем, но и над собою: она в своем собственном сердце воздвигает себе трон, перед которым всякий спешит засвидетельствовать свое почтение; нежные или завистливые, но всегда почтительные чувства мужчин и женщин, всеобщее уважение и уважение к самой себе — все это за несколько минут борьбы вознаграждает ее непрерывной славой. Лишения преходящи, но награда за них постоянная. Каким наслаждением для благородной души является гордость добродетели, соединенная с красотою! Представьте в действительности героиню романа — она будет вкушать более изысканные наслаждения, чем разные Лаисы и Клеопатры; а когда красота исчезнет, у ней все-таки останутся слава и удовольствия; она и одна сумеет наслаждаться прошлым.

Чем выше и труднее обязанности, тем ощутительнее и тверже должны быть основания, на которые они опираются. Существует особый благочестивый язык, которым стараются прожужжать уши молодым особам, говоря им о самых важных материях и никогда ни в чем не убеждая. Этим языком, совершенно несоответственным с их

идеями, и неуважением, с каким они втайне относятся к нему, объясняется та легкость, с какою они поддаются своим склонностям, не имея основания бороться с ними, — оснований, которые вытекали бы из самих вещей. Девушка, умно и благочестиво воспитанная, обладает, без сомнения, сильным орудием против искушений; но та, сердце или скорее слух которой питают единственно благочестивою болтовней, неизменно становится добычею первого ловкого оболстителя, который за нее возьмется. Никогда молодая и красивая особа не станет презирать своего тела, никогда не станет чистосердечно огорчаться тем, какие великие грехи порождаются ее красотою, никогда не станет искренно и перед богом оплакивать то обстоятельство, что она является предметом вожделений, никогда не поверит в душе, что самое сладостное сердечное чувство есть изобретение сатаны. Дайте ей другие основания, внутренние, лично до нее касающиеся, ибо те основания не произведут впечатления. Еще хуже будет, если — как это часто и случается — внесут противоречие в ее идеи, если сначала унизят ее, опорочивая тело и прелести ее как греховную скверну, потом это же тело, ставшее для нее столь презренным, заставят ее почитать, как храм Христов. Слишком возвышенные и слишком низкие идеи одипаково недостаточны и не могут совмещаться: нужно основание, доступное полу и возрасту. Уважение к долгу лишь тогда имеет силу, когда с ним соединяются мотивы, побуждающие нас выполнять этот долг.

Quod quia non liceat non facit, illa facit ²⁴. Едва ли можно думать, что Овидий слишком строг в своем суждении.

Итак, если вы хотите внушить молодым особам любовь к добрым нравам, то не повторяйте беспрестанно: «Будьте благоразумны», но покажите им всю выгоду этого; дайте им почувствовать всю цену благоразумия — и вы заставите их полюбить его. Недостаточно предвидеть эту выгоду в отдаленном будущем — покажите, что им полезно в текущий момент в сношениях, свойственных их возрасту, и в характере их возлюбленных. Нарисуйте им человека добродетельного, человека с достоинствами; научите их распознавать его, любить его — и любить для самих себя; докажите им, что только такой человек, будь они его подругами, женами или возлюбленными, может сделать их счастливыми. Вызывайте добродетель путем рассудка; дайте им почувствовать, что власть их пола и все его преимущества зависят не только от их хорошего поведения, от их нравственности, но, кроме того, и от нравственности мужчин, что они мало окажут влияния на души презренные и низкие, что служить своей возлюбленной можно только так, как служат добродетели. Будьте уверены, что тогда, описывая им нравы наших дней, вы вызовете в них искрен-

нее отвращение; показывая им модных людей, вы возбудите в них презрение к ним; вы внушите нерасположение к их правилам, отвращение к их чувствам, пренебрежение к их пустым любезностям; вы зародите в них более благородное честолюбие — желание царить над великими и сильными душами, честолюбие спартанских женщин, которым хотелось повелевать мужчинами. Женщина дерзкая, бесстыдная, интриганка, умеющая привлекать возлюбленных лишь кокетством и удерживать их лишь своими милостями, получает от них, как от лакеев, только услуги рабские и обыденные, а в случаях важных и значительных она не властна над ними. Но женщина, честная, любезная и разумная, внушающая окружающим почтение к себе, обладающая сдержанностью и скромностью, — словом, женщина, любовь к которой питается уважением, одним знаком посылает возлюбленных своих на край света, в битву, за славой, на смерть, куда ей угодно *. Прекрасна мне кажется эта власть, и стоит труда купить ее себе.

Вот в каком духе велось воспитание Софи, требовавшее не столько труда, сколько заботливости, и скорее сообразовавшееся с ее склонностями, чем стеснявшее их. Скажем теперь несколько слов о ее личности, согласно с тем портретом, который я обрисовал Эмилю, и с тем представлением, которое он сам составил себе о супруге, способной сделать его счастливым.

Я не перестану повторять, что чудеса я оставляю в стороне. Эмиль — не чудо. Софи — тем менее. Эмиль — мужчина, а Софи — женщина; в этом вся их слава. При той путанице полов, которая царит между нами, принадлежать к своему полу — почти уже чудо.

Софи хорошо одарена от рождения, у нее добрые задатки; сердце у нее очень чувствительное, и эта чрезмерная чувствительность вызывает иной раз такую работу воображения, которая с трудом умеряется. Ум у нее не столько точный, сколько пронизательный;

* Брантом ²⁵ рассказывает, что во время Франциска I одна молодая особа, имевшая болтливого любовника, наложила на него решительное и полное молчание, и он так строго хранил его целых два года, что все считали его онемевшим вследствие болезни. Однажды, в большом собрании, возлюбленная его, отношений которой в те времена, когда любовь была тайной, никто не знал, похвалилась, что в один момент вылечит его, и сделала это с помощью одного слова: «говорите!» Разве нет чего-то великого и героического в подобной любви? Что большего могла бы сделать философия Пифагора, со всею ее пышностью? ²⁶ Не представляется ли тут воображению божество, дающее смертному по одному своему слову орган речи? Какая женщина в настоящее время могла бы рассчитывать на подобное молчание в течение даже дня, хотя бы ей пришлось заплатить за это всем, что в ее власти?

характер уживчивый и, однако, не ровный; фигура обыкновенная, но приятная; физиономия обещает, что у ней есть душа, и не обманывает; можно равнодушно подойти к ней, но отойти от нее нельзя без волнения. Другие имеют и такие хорошие качества, которых ей недостает; у других в большей степени развиты качества, которые она имеет; но ни у одной нет такого удачного подбора качеств, способного создать счастливый характер. Она умеет извлечь пользу из самых недостатков своих; и, если бы она была более совершенной, она правилась бы гораздо меньше.

Софи не красавица; но возле нее мужчины забывают красивых женщин, красивые женщины недовольны собою. На первый взгляд она едва ли покажется хорошенькою; но чем больше на нее смотришь, тем больше она хорошеет; она выигрывает, где другие проигрывают, а что она выигрывает, того уже не теряет. Можно иметь более красивые глаза, более красивый рот, более представительную фигуру; но ни у кого нет более стройной талии, лучшего цвета лица, такой белой ручки, такой маленькой ножки, столь нежного взгляда, столь приветливой физиономии. Она не ослепляет, но заинтересовывает; она очаровывает, а чем — не сумеешь сказать.

Софи любит наряды и знает в них толк; у ее матери нет иной горничной, кроме нее; у ней много вкуса, так что она умеет одеться к лицу; но она ненавидит богатые платья; в ее наряде всегда видна простота, соединенная с изяществом; она любит не то, что блестит, а то, что идет ей. Она не знает, какие цвета в моде, но она чудесно знает, какие идут к ней. Нет девушки, которая на вид казалась бы одетою с меньшею, чем она, изысканностью и у которой наряд был бы так тщательно обдуман: ни одна принадлежность костюма не взята наугад, и все-таки ни в одной не видно искусственности. Костюм ее по виду очень прост, но в действительности очень кокетлив; она не выставляет напоказ своих прелестей — прикрывает их, но прикрывая, умеет дать пищу воображению. Видя ее, скажешь: «Вот скромная и добропорядочная девушка»; но пока остаешься с нею, глаза и сердце так и приковываются к ее фигуре, не будучи в состоянии оторваться; поневоле скажешь, что весь этот наряд, столь простой, для того только и занимает свое место, чтобы заставить воображение отбросить его часть за частью.

У Софи есть природные таланты; она это сознает и не пренебрегает ими; но так как она не имела случая искусно развить их, то она довольствуется тем, что, при своем прекрасном голосе, научилась петь правильно и со вкусом, научилась легко, плавно и с грацией ходить своими маленькими ножками, без стеснения и неловкости делать поклоны при всяком положении. Впрочем, у нее не было дру-

гого учителя пения, кроме отца ее, иной учительницы танцев, кроме матери; а соседний органист дал ей несколько уроков аккомпанирования на клавикордах, которыми потом она занялась сама. Сначала она думала лишь о том, как бы покрасивее положить руку на эти черные клавиши, потом заметила, что рядом с резким и сухим звуком клавикордов звук голоса делается нежнее; мало-помалу она стала понимать гармонию; наконец, подрастая, она стала чувствовать прелесть выражения и полюбила самую музыку. Но это скорее охота, чем талант; она не умеет разбирать арию по нотам.

Предмет, который Софи лучше всего знает и которому заботливее всего ее обучали, — это свойственные ее полу работы, даже те, за которыми не особенно гоняются, как, например, шитье и кройка платьев. Нет ни одной швейной работы, с которой она была бы незнакома и которою не занималась бы с удовольствием; но всякой другой работе она предпочитает плетение кружев, потому что ни одна работа не придает такой приятной позы, ни в одной пальцы не упражняются с такой грацией и легкостью. Она научилась также всем тонкостям хозяйства. Она хорошо знакома с кухней и кладовой, знает цену припасов, понимает в них толк, умеет хорошо вести счета — она вроде дворецкого при матери. Созданная на то, чтобы со временем самой быть матерью семейства, она, управляя родительским домом, учится управлять своим; она может заменить при случае прислугу и охотно это делает. Только приказать умеешь лишь то, что умеешь сам выполнить, — вот почему мать занимает ее всем этим. Что касается самой Софи, то она не заходит так далеко; первый долг ее — это долг дочери; этот только долг она теперь и старается выполнить. Единственная цель ее — услужить своей матери и хоть частью облегчить ее заботы. Верно, впрочем, и то, что она не все их берет на себя с равным удовольствием. Например, хотя она и лакомка, но не любит кухни; в кухонных мелочах есть кое-что такое, что отталкивает ее: ей всегда кажется, что здесь слишком мало чистоты. В этом отношении она крайне избалована, и эта избалованность, доведенная до излишка, стала одним из ее недостатков; она лучше согласится перенарить на огне весь обед, чем запачкать свой рукавчик. По той же причине у ней никогда не являлось желания присматривать за садом. Земля ей кажется грязной; как скоро она видит навоз, ей чувствуется запах его.

Этим недостатком она обязана наставлениям матери. По мнению последней, чистота — одна из первых женских обязанностей, обязанность специально женская, необходимая, возложенная природою. Нет в мире предмета более противного, чем грязная женщина, и муж, чувствующий к ней отвращение, всегда прав. Мать столько

с самого детства проповедовала дочери об этой обязанности, такой требовала от нее чистоты по отношению к ней самой, по отношению к вещам ее, комнате, работе ее, туалету, что все эти хлопоты, обратившиеся в привычку, отнимают у ней довольно значительную часть времени, да и в остальную часть стоят на первом месте, так что хорошее исполнение дела является только второй из ее забот, а первой заботой всегда бывает чистота.

Однако же все это не превратилось у ней в пустое жеманство или в изнеженность; утонченность роскоши здесь не играет никакой роли. В ее комнату никогда не попадало ничего, кроме простой воды; она не знает других духов, кроме запаха цветов, и мужу ее никогда не придется вдыхать запаха более нежного, чем ее дыхание. Одним словом, внимание, уделяемое ею внешности, не заставляет ее забывать, что она обязана употребить свою жизнь и свое время на занятия более благородные: она не знает той чрезмерной опрятности тела, которая грязнит душу; Софи более чем опрятна: она чиста.

Я сказал, что Софи была лакомкой. Она была такой по природе; но привычка сделала ее воздержанной, а теперь она воздержанна из добродетели. С девочками не то, что с мальчиками, которыми можно, до известной степени, управлять посредством чревоугодия. Эта склонность не обходится без последствий для женского пола; слишком опасно оставлять ее без внимания. Маленькая Софи в детстве, входя одна в комнату матери, не всегда возвращалась оттуда с пустыми руками и не отличалась испытанною верностью по части конфет и сластей. Мать поймала ее, уличила, наказала, заставила поголодать. Наконец ей удалось убедить ее, что сласти портят зубы и что от излишней еды потолстеет талия. Таким образом Софи исправилась; подросши она получила иные вкусы, которые отвлекли ее от этой низкой чувствительности. У женщин, как и у мужчин, чревоугодие перестает быть господствующим недостатком, как только пробуждается сердце. У Софи сохранились вкусы, свойственные ее полу, она любит молочное и сахарное, любит печенье и пирожное, но не любит мяса; она никогда не пробовала ни вина, ни крепких напитков; кроме того, она очень умеренна в еде. Женский пол, менее трудящийся, чем наш, меньше нуждается и в подкреплении. Во всякой вещи она любит то, что хорошо, и умеет этим насладиться; она умеет приспособиться и к тому, что нехорошо, и это лишение ничего ей не стоит.

Ум у Софи приятный, хотя не блестящий, основательный, хотя и не глубокий, — такой, о котором ничего не говорят, потому что всякий находит у ней не больше и не меньше ума, чем у него самого. Ум ее всегда нравится людям, с ней беседующим, хотя они и не очень

просвещены, если брать мерилom то понятие, которое мы имеем о возможном развитии женского ума; ибо он развивался не через чтение, а только путем бесед с отцом и матерью, путем ее собственных размышлений и наблюдений, сделанных ею в том небольшом клочке мира, который она видела. Софи от природы весела; в детстве она была даже шаловлива; но мать постаралась мало-помалу обуздать эту ветреность из опасения, чтобы слишком внезапная перемена не обнаружила сразу и побуждение, сделавшее эту перемену необходимою. Поэтому она сделалась скромною и сдержанною даже раньше времени; а теперь, когда это время пришло, сохранять принятый тон ей уже не так трудно, как трудно было бы сразу вновь его усваивать, ничего не подозревая о причине этой перемены. Забавно видеть, как иной раз она, по старой привычке, предается детской резвости, а потом вдруг приходит в себя, умолкает, опускает глаза и краснеет: время, промежуточное между двумя возрастами, должно иметь нечто общее с тем и другим.

Софи не столько чувствительна, что не может сохранять постоянно ровное настроение; но в то же время она отличается такою кротостью, что чувствительность ее не может надоедать сильно другим: ей одной она и причиняет зло. Если ей скажут хоть одно обидное слово, она не надуется, но сердце у ней сожмется, и она старается убежать, чтобы где-нибудь поплакать. Но если среди плача ее позовет отец или мать и скажет ей хоть слово, она тотчас же начнет играть и смеяться, ловко вытирая глаза и стараясь заглушить рыдания.

Она не совсем свободна и от капризов: нрав ее, стоит несколько раздражить его, обращается в упрямство, и тогда она способна забыться. Но дайте ей время прийти в себя — и ее усилия загладить свою вину обратят эту последнюю почти в заслугу. Если ее наказывают, она послушна и покорна, и видно, что ей стыдно не столько наказания, сколько вины. Если ей ничего не скажут, она не преминет сама загладить свою вину и сделает это так откровенно и с такой охотой, что злопамятствовать на нее совершенно невозможно. Она поклонилась бы до земли последнему из слуг, и это унижение несколько не было бы ей тягостно; а как скоро ее простили, по ее радости и ласкам хорошо видно, какую большую тяжесть сняли с ее доброго сердца. Словом, она терпеливо выносит чужую вину и с удовольствием заглаживает свою. Таким бывает милый нрав этого пола, пока мы не испортим. Женщина создана на то, чтоб уступать мужчине и переносить даже обиду с его стороны. Но мальчуганов вы никогда не доведете до этой степени подчинения; внутреннее чувство в них поднимается и возмущается против несправедливости; природа не

создала их на то, чтобы выносить несправедливость. Это *gravem Pelidae stomachum cedere nescii* ²⁷.

Софи религиозна; но религия ее проста; в ней мало догматов и обрядов, или, скорее сказать, считая самую существенною частью нравственность, она всю жизнь свою посвящает служению богу — путем добрых дел. Давая ей наставления по этому поводу, родители постоянно приучали ее к почтительной покорности, постоянно говоря ей: «Дитя мое, эти знания тебе не по летам: твой муж научит тебя, когда придет время». Впрочем, они не читали длинных проповедей о благочестии, а довольствовались тем, что сами подавали пример его, и этот пример запечатлелся в ее сердце.

Софи любит добродетель; эта любовь стала ее господствующею страстью. Она любит ее потому, что нет ничего столь прекрасного, как добродетель; любит потому, что добродетель составляет славу женщины, и добродетельная женщина кажется ей чуть не равною ангелам; она любит ее как единственный путь к истинному счастью, так как жизнь бесчестной женщины представляется ей лишь нищетою, беспомощным состоянием, несчастьем, позором, срамом; любит, наконец, потому, что она дорога ее почтенному отцу, ее нежной и достойной матери: не довольствуясь счастьем, получаемым через свою собственную добродетель, они хотят быть счастливыми и ее добродетелью, а для нее самой первое счастье — это надежда составить для них счастье. Все эти чувствования внушают ей энтузиазм, который возвышает ее душу и держит все мелкие ее склонности в подчинении у этой столь благородной страсти. Софи останется целомудренной и честной до последнего издыхания; она поклялась в этом в глубине своей души, и поклялась в ту пору, когда уже чувствовала всю трудность сдержать подобного рода клятву; она поклялась в то время, когда уже должна была бы отказаться от обязательства, если бы чувственность способна была господствовать над нею.

Софи не имеет счастья быть любезной француженкой, холодной по темпераменту и кокетливой из тщеславия, желающей скорее блистать, чем правиться, ищущей развлечения, а не удовольствия. Ее снедает потребность любить; эта потребность отвлекает и смущает ее сердце даже среди празднеств: она утратила свою прежнюю веселость; резвые игры перестали существовать для нее; она не только не боится скуки, одиночества, но ищет его; в уединении она думает о том, кто должен сделать это уединение сладким для нее; все посторонние надоедают ей; ей нужно не свиту, а одного возлюбленного; она предпочитает нравиться одному честному человеку, но нравиться всегда вместо того, чтобы возбуждать крики модного восторга, которые длятся один день, а на следующий день превращаются в свист.

У женщины способность судить раньше развивается, чем у мужчин; находясь почти с самого детства в оборонительном положении и обладая залогом, который не легко беречь, они по необходимости раньше знакомятся с добром и злом. У Софи, во всем не по летам развитой, потому что темперамент ее ускоряет это развитие, и способность судить развилась скорее, чем у других девушек ее возраста. В этом нет ничего слишком необычайного: зрелость не везде бывает одинаковой в одно и то же время.

Софи осведомлена относительно прав и обязанностей ее пола и нашего. Она знакома с недостатками мужчин и пороками женщины; она знакома и с противоположными качествами и добродетелями — и все их запечатлела в глубине своего сердца. Нельзя иметь более высокое понятие о честной женщине, чем то, которое она составила себе, — и это понятие не пугает ее; но она с большим удовольствием мечтает о честном мужчине, о человеке с достоинством; она чувствует, что создана для такого человека, что достойна его, что может вознаградить его за счастье, которое получит от него; она чувствует, что отлично сумеет его распознать, — остается только найти его.

Женщины суть естественные судьи достоинств мужчин, подобно тому как эти последние являются судьями достоинств женщины: это их взаимное право; и те и другие хорошо это знают, Софи сознает это право и пользуется им, но со скромностью, приличною ее молодости, неопытности, ее положению; она судит лишь о вещах, доступных ее пониманию, и тогда лишь судит, когда из этого можно извлечь какое-нибудь полезное правило. Об отсутствующих она говорит с величайшей осмотрительностью, особенно если это женщины. Она уверена, что болтовня о представительницах их же пола и делает женщины злоречивыми и насмешливыми: пока они ограничиваются беседою о мужчинах, они бывают справедливы. Поэтому и Софи ограничивается лишь этим. Что же касается женщин, то она говорит о них лишь тогда, когда может сказать что-нибудь хорошее: она считает себя обязанной воздавать эту честь своему полу; а относительно тех, о которых она не умеет сказать что-либо хорошее, она не говорит ничего, и это все понимают.

Софи мало знакома со светскими обычаями; но она обязательна, внимательна и мила во всем, что ни делает. Счастливый характер помогает ей лучше всякого искусства. У ней есть своя особая вежливость, не зависящая от формул, не подчиненная моде, не изменяющаяся вместе с последнею, — вежливость, которая ничего не делает из-за обычая, но вытекает из истинного желания угодить и действительно умеет угодить. Она не знает пошлых комплиментов и не изобретает наиболее изысканных; она не говорит, что она «очень обяза-

на», что ей «делают большую честь», не просит «не трудиться» и т. д. Еще реже ей приходит в голову сочинять фразы. На внимание, на установленную вежливость она отвечает поклоном или простым: «Благодарю вас!» — но это слово в ее устах стоит всякого другого. На истинную услугу она отзывается своим сердцем, и отзыв этот уже не комплимент. Она никогда не допускала, чтобы французский обычай налагал на нее иго жеманства; она не опиралась бы, например, переходя из одной комнаты в другую, на руку шестидесятилетнего старца, которого ей самой очень хотелось бы поддержать. Когда раздушенный любезник предлагает ей эту нелепую услугу, она покидает услужливую руку на лестнице и в два прыжка достигает своей комнаты, заявив ему, что она не хромая. И действительно, хотя она не велика ростом, но она никогда не хотела носить высокие каблуки: ноги у ней настолько малы, что могут обойтись и без них.

Она молчалива и почтительна не только с женщинами, но даже с мужчинами, женатыми или такими, которые гораздо старше ее; она никогда не займет места выше их, если ее не заставят, да и то при первой же возможности снова сядет на свое, низшее; ибо она знает, что права возраста важнее прав пола, так как предполагается, что они обладают мудростью, которая должна быть почитаема больше всего.

С молодыми людьми ее лет — другое дело: тут ей нужен совершенно иной тон, чтобы внушить им уважение, и она умела принимать его, не покидая скромного вида, ей свойственного. Если они сами скромны и сдержанны, она охотно сохранит в обращении с ними милую фамильярность юности; беседы их, исполненные невинности, будут шутливыми, но пристойными: если беседы эти станут серьезными, ей захочется, чтобы они были и полезными; если они сойдут на пошлости, она скоро положит им конец, ибо она особенно презирает пустую болтовню ухаживателей, как весьма оскорбительную для своего пола. Она хорошо знает, что мужчина, которого она ищет, не способен на такую болтовню, а она неохотно терпит в другом то, что не подходит к образу, запечатленному у нее в глубине сердца. Ее высокое мнение о правах своего пола, гордость души, порождаемая в ней чистотою ее чувствований, та энергия добродетели, которую она сознает в самой себе и которая делает ее достойною уважения в ее собственных глазах, — все это заставляет ее с негодованием отпоситься к тем сладким речам, которыми думают ее забавить. Она выслушивает их не с гневным видом, но с ироническим одобрением, которое сбивает с толку, или с такою холодностью, которой никак не ожидали. Если иной «красавец Феб» станет рассыпаться перед ней в любезностях, станет, с претензией на остроумие, расхвали-

вать ее ум, красоту, толковать о ее прелести, о том, какое высокое счастье ей нравится, то она способна прервать его, вежливо заявить ему: «Сударь! мне кажется, я знаю все это лучше вас; если нам нечего сказать друг другу более любопытного, то, я думаю, на этом мы и можем прекратить беседу». Закончить эти слова глубоким поклоном и очутиться затем в двадцати шагах от него для нее будет делом одной минуты. Спросите у ваших любезников, легко ли развести надолго свою болтовню, когда имеешь дело с таким упрямым умом, как этот.

Это не значит, однако, что она не любит похвал, нужно только, чтобы они были искренни и чтобы она могла быть уверена, что о ней действительно так же хорошо думают, как говорят. Чтобы казаться тронутым ее достоинствами, нужно прежде всего высказать свои собственные. Почтение, основанное на уважении, может польстить ее гордому сердцу, но всякое галантное зубоскальство всегда будет отвергнуто; Софи не на то создана, чтобы на ней упражнялись пустые таланты фигляра.

Обладая такою зрелостью суждения и развившись во всех отношениях не хуже двадцатилетней девушки, Софи и в пятнадцать лет не будет считаться родителями за ребенка. Едва они заметят в ней первую тревогу юности, как поспешат уже, пока она не усилится, принять меры; они станут держать к ней нежные и разумные речи. Нежные и разумные речи ей как раз по возрасту и по характеру. Если этот характер таков, как я его представляю, то почему бы отцу не поговорить с ней приблизительно так:

«Софи! Вот ты уже взрослая девушка, а тебе не вечно же предстоит быть девушкой. Мы желаем, чтобы ты была счастлива; этого мы желаем для себя именно, потому что наше счастье зависит от твоего. Счастье честной девушки заключается в том, чтоб осчастливить честного человека: нужно, следовательно, подумать о твоём замужестве; нужно подумать заранее, потому что от брака зависит жизненный жребий, а думать о нем никогда не бывает слишком рано.

Нет ничего труднее, как выбрать хорошего мужа, — если только выбор хорошей жены не бывает, пожалуй, еще более трудным. Софи! Ты будешь этой редкой женой, ты будешь украшением нашей жизни и счастья для наших старых лет; но какими достоинствами ты ни одарена, на земле немало людей, которые еще более имеют достоинств, чем ты. Всякий мужчина должен был бы гордиться обладанием тобою; но много и таких, которые еще более ценят бы тебе. Все дело в том, чтобы найти в этом числе такого, который подходил бы к тебе, распознать его и ему дать возможность узнать тебя.

Полное счастье брачной жизни зависит от такой массы условий,

что было бы безумием желать соединить их все. Нужно сначала обеспечить себя относительно наиболее важных; если окажутся на лицо и прочие, тем лучше; если их недостает, обходятся и без них. Совершенного счастья нет на земле; но самое большое несчастье и притом такое, которого всегда можно избежать, — это быть несчастным по своей вине.

Требования для брака бывают естественные, установленные обычаем, и такие, которые зависят единственно от людского мнения. Родители — судьи в двух последних категориях, а судьями в первой категории бывают одни лишь дети. При браках, заключаемых по воле родителей, руководствуются единственно требованиями искусственными и требованиями людского мнения; тут не личность сочетают браком, а звание и состояние; но все это подвержено изменениям, только личность остается всегда одной и той же, только ее носят всюду с собою; на зло судьбе брак может быть счастлив или несчастлив только по личным отношениям.

Мать твоя была знатного происхождения, я был богат; вот единственные соображения, побудившие наших родителей соединить нас. Я потерял состояние, она потеряла свое знатное имя: раз она забыта своей семьей, что ей теперь за польза от того, что она родилась барышней? Среди наших невзгод единодушие сердец наших утешало нас во всем; сходство вкусов побудило нас избрать это убежище; мы живем здесь счастливыми в бедности, мы заменяем друг для друга все остальное. Софи — наше общее сокровище; мы благословляем Небо за то, что оно дало нам это сокровище и отняло у нас все остальное. Ты видишь, дитя мое, куда привело нас Провидение: условия, которые повели к заключению нашего брака, исчезли, а мы остаемся счастливыми только в силу тех условий, которых вовсе не принимали в расчет.

Дело будущих супругов — выбирать друг друга. Взаимная склонность должна быть их первою связью: их глаза, сердца их должны быть первыми руководителями; ибо, так как первая их обязанность, после соединения, — любить друг друга, а любовь не зависит от нас самих, то эта обязанность по необходимости влечет за собою и другую, именно — обязанность полюбить друг друга еще прежде соединения. Вот право природы, которого ничто не может отменить: те, которые стеснили его такою массою гражданских законов, больше обращали внимание на внешний порядок, чем на супружеское счастье и нравы граждан. Ты видишь, милая Софи, что мы проповедуем тебе мораль легко выполнимую. Она стремится сделать тебя распорядительницею своей собственной судьбы, а нас учит в выборе твоего супруга полагаться на тебя.

Указав тебе основания, почему мы предоставляем тебе полную свободу, мы должны выяснить тебе и то, почему ты должна пользоваться ею благоразумно. Дочь моя, ты добра и рассудительна, в тебе есть прямота и благочестие, ты имеешь таланты, приличные честным женщинам, и не лишена прелести; но ты бедна: ты имеешь самые ценные блага, но тебе недостает тех, которые больше всего ценятся. Поэтому желай лишь того, чего можешь достигнуть, и регулируй свое честолюбие не собственными или нашими суждениями, а людским мнением. Если бы дело шло только о равенстве достоинств, то я не видал бы предела для твоих надежд; но ты не возносишься выше своего состояния и не забывай, что оно самое ничтожное. Хотя человек, достойный тебя, не будет считать это неравенство за препятствие, но тогда тебе придется сделать то, чего он не сделает: Софи должна подражать своей матери и войти лишь в такую семью, которая стала бы гордиться ею. Ты не видала нашего богатства, ты родилась во время нашей бедности; ты делаешь ее сладкой для нас и без труда разделяешь ее. Поверь же мне, Софи, не ищи благ, за освобождение от которых мы благословляем Небо; мы вкусили счастья лишь после того, как потеряли богатство.

Ты настолько мила, что всякому должна нравиться, и бедность твоя не такова, чтобы порядочный человек затруднялся выбрать тебя супругой. Твоего знакомства будут добиваться такие люди, которые не будут тебя стоить. Если бы они выказались перед тобою такими, каковы они в действительности, ты оценила бы их по достоинству; вся их пышность не долго бы морочила тебя; но, хотя у тебя есть здравый смысл и ты знаешь толк в достоинствах, тебе все-таки не хватает опытности и ты не знаешь, до какой степени люди могут притворяться. Ловкий плут может изучить твои вкусы, с целью прельстить тебя, и может прикинуться перед тобою имеющим добродетели, которых у него нет. Он погубит тебя, Софи, прежде чем ты это заметишь, и ты узнаешь ошибку лишь для того, чтобы оплакивать ее. Самыми опасными из всех сетей, единственными, которых разум не может избежать, бывают сети чувственности; если когда-либо ты, к несчастью, попадешь в них, ты ничего не будешь замечать, кроме иллюзий и химер, глаза твои будут ослепленными, рассудок помутится, воля твоя будет извращенной, заблуждение будет даже дорого тебе и, если ты даже будешь в состоянии распознать его, ты не захочешь отречься от него. Дочь моя, рассудку Софи я поручаю тебя, но не могу предоставить себя склонностям ее сердца. Пока ты будешь хладнокровна, оставайся своим собственным судьей; но как скоро ты полюбишь, передай своей матери заботу о себе.

Я предлагаю тебе соглашение, из которого ты увидишь наше

уважение к тебе и которое могло бы восстановить в наших отношениях порядок природы. Родители выбирают супруга своей дочери и советуются с нею лишь для формы — таков обычай. Мы поступим совершенно наоборот: ты выберешь, а от нас получишь совет. Пользуйся своим правом, Софи, пользуйся свободно и благоразумно. Супруг для тебя подходящий должен быть тобой избран, а не нами. Но наше дело обсудить, не обманываешься ли ты насчет пригодности партии и не поступаешь ли ты, сама того не зная, совершенно иначе, чем желаешь. Происхождение, состояние, ранг, людское мнение ничуть не войдут в наши расчеты. Выбирай честного человека, личность которого тебе нравится и характер которого подходит к тебе; каков бы он ни был в остальных отношениях, мы примем его в зятья. Богатство у него всегда будет достаточно, если у него есть руки, если он отличается нравственностью и любит свою семью. Звание его всегда будет достаточно высоким, если он облагораживает его добродетелью. Если весь мир нас осуждал бы, что нам за дело? Мы не одобрения общества искали, — нам достаточно твоего счастья».

Читатели, я не знаю, какое действие произвела бы подобная речь на девушек, воспитанных на ваш манер. Что касается Софи, она, может быть, не станет отвечать на нее словами: от стыда и умиления ей не легко будет выражаться; но я вполне уверен, что речь эта останется запечатленной в ее сердце на всю остальную жизнь и что, если можно рассчитывать на какую-либо человеческую решимость, так это на ту, которую вызовет эта речь, на решимость заслужить уважение родителей.

Возьмем самый худой исход и наделим ее пылким темпераментом, который делал бы тягостным для нее продолжительное ожидание: я утверждаю, что рассудок ее, познания, вкус, деликатность и особенно те чувствования, которыми с малолетства питали ей сердце, составят противовес для порывов ее чувственности, достаточный для того, чтобы победить их или по крайней мере долго противодействовать им. Она скорее согласится умереть мученицею своего положения, чем огорчить своих родителей, выйти замуж за недостойного человека и подвергнуться несчастьям неудачно сложившегося супружества. Самая свобода, полученная ею, только еще более возвысит ее душу и сделает ее еще более разборчивой при выборе себе повелителя. С темпераментом итальянки и чувствительностью англичанки она соединит, для сдерживания своего сердца и своей чувственности, гордость испанки, которая, даже в поисках за любовником, не легко находит такого, которого считала бы достойным самой себя.

Не всем дано чувствовать, какую мощь может придать душе

любовь ко всему честному и какую силу можно найти в себе, когда хочешь быть искренно добродетельным. Есть люди, которым все великое кажется химерическим и которые, при своем низком и презренном рассудке, никогда не узнают, как могущественно над людскими страстями самое безумие добродетели. Этим людям нужно говорить лишь примерами; и тем хуже для них, если они упорствуют в их отрицании. Если б я сказал им, что Софи не есть существо воображаемое, что мною придумано только имя, что ее воспитание, нравы, характер, даже самая фигура действительно существовали и что память о ней и теперь еще вызывает слезы у целой честной семьи, они, без сомнения, несколько не поверили бы. Да, впрочем, что мне мешает, без всяких оговорок, докончить историю девушки, столь похожей на Софи, что нет ничего удивительного, если мой рассказ одинаково может относиться и к ней? Пусть считают его истинным или нет, это не важно; я стану рассказывать, если хотите, небылицу, но зато я всегда буду выяснять свою методу и всегда буду идти к своей цели.

Молодая особа, при том темпераменте, которым я только что наделил Софи, имела и в остальных отношениях полное с нею сходство, так что вполне могла бы заслужить это имя, — и я оставляю его за ней. После приведенного мною разговора, отец ее и мать, рассудив, что женихи сами не явятся с предложениями в хижину, где они жили, послали ее провести зиму в городе, у тетки, которую по секрету уведомили о цели этого путешествия; ибо гордая Софи носила в глубине своего сердца горделиво-благородное сознание того, что она умеет торжествовать над собою, и, как бы ни был нужен ей муж, скорее умерла бы девушкой, чем решилась бы отправиться на поиски за ним.

Сообразуясь с видами родителей, тетка представила ее в домах, стала выводить в общество, на празднества, показала ей свет или, лучше сказать, ее показала в нем, ибо Софи мало заботилась о всей этой суете. Однако заметили, что она не обегает общества молодых людей приятной наружности, приличных и скромных на вид. При своей сдержанности, она обладала даже известного рода искусством привлекать их, которое довольно близко подходило к кокетству; но, побеседовав с ними раза два-три, она находила их скучными. Скоро повелительный вид, с каким принимают поклонение, сменялся у ней обращением более смиренным и более холодною вежливостью. Будучи всегда внимательной к самой себе, она не давала им случая оказать ей хоть малейшую услугу: это достаточно показывало, что она не желает быть их возлюбленной.

Никогда чувствительные сердца не любили шумных удовольств-

вий, пустого и бесплодного счастья людей бесчувственных, полагающих, что вести шумную жизнь значит наслаждаться ею. Софи, не найдя, чего искала, и отчаявшись найти этим путем, заскучала в городе. Она нежно любила родителей, ничто ее не могло вознаградить за их отсутствие, ничто не могло заставить ее забыть их; она вернулась домой гораздо раньше назначенного срока.

Едва она принялась за свои занятия в родительском доме, как тотчас заметили, что хотя поведение ее оставалось прежним, но настроение изменилось. Она стала проявлять рассеянность, нетерпение, была грустной и задумчивой, пряталась, чтобы тайком поплакать. Сначала подумали, что она влюблена и что ей стыдно этого; завели с нею речь об этом, она отговаривалась, уверяла, что не видала никого, кто мог бы тронуть ее сердце, — и Софи не лгала.

Однако ж томление ее постоянно увеличивалось, и здоровье начало расстраиваться. Мать, обеспокоенная этою переменой, решила, наконец, разузнать причину. Она застала ее наедине и пустила в ход тот вкрадчивый язык и те неотразимые ласки, которые умеет употреблять одна только материнская нежность: «Дочь моя, я носила тебя в своих недрах и ношу тебя беспрестанно в своем сердце: подели же тайну своего сердца с сердцем твоей матери. Какие же эти секреты, которых мать не должна знать? Кто жалеет тебя в твоих скорбях, кто разделяет их, кто хочет облегчить их, как не отец твой и я? Ах, дитя мое! неужели тебе хочется, чтобы я умерла от твоего горя, не узнавши его?»

Молодой девушке, вместо того чтобы скрывать свои горести от матери, одного только и хотелось, именно иметь в ней утешительницу и поверенную в своих чувствах; но стыд мешал ей высказаться, а скромность ее не находила выражений для описания такого, недостойного ее, состояния, как то волнение, которое, помимо ее воли, испытывала ее чувства. Наконец, так как даже самый стыд служил указанием для матери, последняя вырвала у ней унижительные признания. Вместо того чтоб огорчать ее несправедливыми упреками, она утешила ее, пожалела, плакала о ней; она была настолько благо-разумна, что не могла бы вменить в преступление это страдание, которое одна только добродетель и делала столь жестоким. Но для чего же без нужды переносить страдание, против которого было столь легкое и столь законное средство? Отчего ей не воспользоваться свободой, которую ей представили? Почему не выходила она замуж? Почему не выбирала мужа? Разве она не знала, что жребий ее зависит от нее одной и что, каков бы ни был ее выбор, он будет одобрен, потому что она не могла бы остановить свой выбор на человеке нечестном? Ее послали в город, она не захотела там оставаться; пред-

ставлялось несколько партий, она все их отвергала. Чего же она ждала, чего ей хотелось? Какое необъяснимое противоречие!

Ответ был прост. Если бы дело шло только о подпоре для юности, выбор был бы скоро сделан, но повелителя на всю жизнь не так легко выбрать; а так как нельзя разделить этих двух выборов, то приходится долго ждать, а часто и даром терять молодость, пока не найдешь человека, с которым хотелось бы проводить жизнь. В таком именно положении была и Софи: ей нужен был возлюбленный, но этому возлюбленному приходилось быть мужем; а судя по тому, какого сердца она искала, ей почти одинаково трудно было найти как того, так и другого. Все эти молодые люди, столь блестящие, подходили ей только по возрасту; во всех других отношениях они всегда не сходились; поверхностный ум этих молодых людей, их тщеславие, болтовня, беспорядочная нравственность, пустая подражательность — все это внушало ей отвращение к ним. Она искала человека — и находила лишь обезьян; она искала души — и не находила ее.

«Как я несчастна! — говорила она своей матери. — Мне хочется любить — и я не вижу ничего такого, что мне правилось бы. Сердце мое отталкивает всех тех, к кому влекут меня чувства. Я не вижу между ними ни одного, который не возбуждал бы во мне желаний, и в то же время каждый из них — подавляет во мне желания; влечение без уважения не может долго тянуться. Ах, не тут нужно искать человека, который нужен вашей Софи! Его очаровательный образ слишком глубоко запечатлелся в душе ее. Она может любить только его, лишь его она может сделать счастливым, с ним одним может быть счастлива. Она предпочитает чахнуть и бороться беспрестанно; лучше хочет умереть несчастной и свободной, чем умереть с отчаяния, выйдя за человека, которого не станет любить и которого сделает самого несчастного; лучше не жить, чем жить для страданий».

Пораженная этими странностями, мать нашла их столь чудными, что не могла не заподозрить здесь какую-нибудь тайну. Софи не была ни жеманницей, ни чудачкой. Откуда могла взяться у ней эта преувеличенная разборчивость, если ее с самого детства ничему так усердно не учили, как приспособляться к людям, с которыми придется жить, и из необходимости создавать добродетель? Этот образ милого человека, которым она была так очарована и к которому так часто возвращалась во всех своих разговорах, навел мать на догадку, что каприз этот имеет какое-нибудь другое основание, ей еще неизвестное, и что Софи высказала не все. Несчастливая, удрученная своим тайным горем, искала только случая излить свои чувства.

Мать пристаёт к ней, она колеблется, наконец сдаётся и, выйдя молча из комнаты, через минуту возвращается с книгою в руках. «Пожалейте вашу несчастную дочь: грусть ее неизлечима, слезам ее не иссякнуть... Вы хотите знать причину их: хорошо, вот она!» — сказала девушка, кидая книгу на стол. Мать берет книгу, открывает: это были «Приключения Телемака» ²⁸. Сначала она ничего не понимает в этой загадке; из расспросов и запутанных ответов она наконец увидела, с легко понятным изумлением, что дочь ее была соперницею Эвхарисы.

Софи любила Телемака и любила той страстью, от которой ничто не может исцелить. Как скоро отец и мать узнали о ее мании, они стали над ней смеяться и думали образумить ее. Они ошиблись: разум был не на их стороне; у Софи были свои разумные соображения, и она умела ими пользоваться. Сколько раз она вынуждала их умолкать, направляя их собственные рассуждения против них же самих, доказывая им, что они сами создали все зло, что они развили ее не для человека ее времени, что ей необходимо приходится или принять образ мыслей ее мужа, или внушить ему свой собственный, что первое средство они сделали невозможным благодаря воспитанию, которое дали ей, а другим исходом и был тот, которого она искала. «Дайте мне, — говорила она, — человека, проникнутого моими правилами, или такого, которому я могла бы внушать их, — и я выйду за него; но до тех пор за что вам бранить меня? Лучше пожалейте меня. Я несчастна, я не безумна. Зависит ли сердце от воли? Не сам ли отец говорил это? Моя ли вина, если я люблю того, кого нет? Я не мечтательница; мне не нужно принца, я не ищу Телемака, я знаю, что это лишь вымысел: я ищу кого-нибудь, кто походил бы на него. И почему не существовать такому человеку, раз существую я, — я, чувствующая, что мое сердце так похоже на его сердце? Нет, не будем так позорить человечество; не станем думать, что человек милый и добродетельный есть лишь химера. Он существует, он живет, он, быть может, ищет меня; он ищет душу, которая умела бы его любить. Но кто он, где он? Я не знаю его; он не из тех, которых я видела; его, несомненно, не будет и между теми, которых я увижу. О, мать моя! Зачем ты сделала добродетель слишком привлекательной для меня? Если я могу любить лишь ее одну, то вина здесь не столько моя, сколько ваша».

Доводить ли мне это печальное повествование до его катастрофы? Пересказывать ли мне продолжительные распри, которые ей предшествовали? Представлять ли мне, как выведенная из терпения мать свои первоначальные ласки обратила в суровость? Показывать ли, как раздраженный отец забыл свои прежние обязательства и с самой

добродетельной из дочерей обходился, как с безумной? Изображать ли, наконец, как несчастная, благодаря преследованию, которому ее подвергали, еще более привязавшаяся к своей химере, шла медленными шагами к смерти и сошла в могилу в момент, когда думали ее вести к алтарю? Нет, я оставляю в стороне эти мрачные предметы. Мне нет нужды идти так далеко, если я хочу показать на примере, — довольно, мне кажется, поразительном, — что, несмотря на предрассудки, порождаемые нравами века, женщины не более чужды энтузиазма к честному и прекрасному, чем мужчины, и что под руководством природы от них, как и от нас, можно добиться всего.

Меня остановят здесь вопросом, не природа ли предписывает нам предпринимать столько трудов для подавления неумеренных вожделений. Я отвечаю, что нет, но что зато не природа и внушает нам все эти неумеренные вожделения. Все же, что не от нее идет, идет против нее, — я это тысячу раз доказывал.

Возвратим нашему Эмилю его Софи: воскресим эту милую девушку и наградим ее воображением менее живым и более счастливою участью. Я хотел изображать обыкновенную женщину; но, возвышая ее душу, я помутил ее разум; я сам сбился с толку. Вернемся к прежнему. Софи при обыкновенной душе имеет лишь добрые нравственные задатки; все, чем она превосходит других женщин, есть следствие ее воспитания.

Я задался мыслью сказать в этой книге все, что можно было бы сделать, предоставляя каждому выбрать сильное для него из того, что я мог сказать хорошего. Я сначала думал исподволь воссоздать подругу Эмилю и воспитывать их друг для друга и друг с другом. Но, поразмыслив, я нашел, что все эти слишком преждевременные распределения были бы нецелесообразными и что было бы нелепо предназначать двух детей к соединению, прежде чем узнаешь, в порядке ли природы это соединение и будут ли между ними соотношения, пригодные для такого соединения. Не нужно смешивать того, что естественно в диком состоянии и что естественно в гражданском быту. В первом все женщины годны для всех мужчин, потому что те и другие сохраняют еще первоначальный и общий склад; во втором каждый характер развивается под влиянием общественных учреждений, каждый ум получил свой собственный определенный склад, и притом не от воспитания только, но от удачно или неудачно направленной встречи естественных задатков с воспитанием; поэтому подбирать их здесь можно уже не иначе, как знакомя друг с другом, чтобы видеть, во всех ли отношениях они подходят друг к другу, или чтобы остановить свой выбор по крайней мере на том, в ком больше этих сходных черт.

Зло состоит в том, что, развивая характеры, общественный быт разграничивает ранги, а так как каждый из этих порядков непохож на другой, то чем больше различий между состояниями, тем больше путаницы в характерах. Отсюда — неудачно подобранные браки и все беспорядки, ведущие от них начало; отсюда вытекает, как очевидное последствие, что, чем дальше удаляются от равенства, тем более извращаются естественные чувства; чем больше увеличивается расстояние между знатыми и людьми мелкими, тем более ослабляются брачные узы; чем больше богачей и бедняков, тем меньше отцов и мужей. Ни господа, ни раб не имеют уже семьи: каждый из них занят лишь своим положением.

Хотите предупредить злоупотребления и сделать браки счастливыми — заглушите предрассудки, забудьте о людских учреждениях и советуйтесь с природой. Не соединяйте людей, которые подходят друг к другу лишь в данном состоянии и которые не станут уже подходить, раз это состояние изменится; но соединяйте таких, которые будут подходить один к другому, в каком бы положении ни оказались, в какой бы стране ни жили, в какое бы звание ни попали. Я не говорю, что условные отношения безразличны для брака, но я говорю, что влияние естественных соотношений настолько сильнее влияния условных, что оно одно определяет жизненный жребий; и что бывает такое сходство вкусов, нрава, чувств, характеров, которое должно было бы понудить разумного отца, будь он принц, будь монарх, не колеблясь женить своего сына на девушке, с которой у него будет это полное сходство, если б даже она родилась в бесчестной семье, если бы даже была дочерью палача. Да, я утверждаю, что, если бы даже все возможные несчастья должны были обрушиться на супругов, удачно вступивших в союз, они все-таки более наслаждались бы истинным счастьем, вместе горюя, чем среди всех земных благ, отравленных разъединением сердец.

Итак, вместо того чтобы с самого детства предназначать супругу моему Эмилю, я ждал, пока узнаю, какая ему годится. Не я устроил это предназначение, а природа; мое дело — отыскать то, что она выбрала. Я говорю: «мое дело», а не дело отца; ибо, доверяя мне сына, он уступил мне свое место, заменил свое право моим: я — настоящий отец Эмиля, я сделал его человеком. Я отказался бы от воспитания, если бы не был властен женить его по его выбору, т. е. по моему. Только удовольствие сделать человека счастливым может вознаградить за все труды, предпринятые с целью дать ему возможность стать счастливым.

Но не думайте также, что, желая найти супругу Эмилю, я и в самом деле ждал, пока он не направится на поиски. Эти мнимые

поиски не что иное, как предлог для ознакомления его с женщинами, чтобы он чувствовал всю цену той, которая подходит ему. Давным-давно Софи уже найдена; быть может, Эмиль ее уже видел; но он узнает ее лишь тогда, когда наступит время.

Хотя равенство званий и не составляет необходимого условия для брака, но, если это равенство присоединяется к другим подходящим условиям, оно увеличивает их цену; оно не может идти в сравнение ни с каким другим, но оно перевешивает, когда все равно.

Мужчина, если только он не монарх, не может искать жены во всех состояниях, ибо, если у него не будет предрассудков, он встретит их в других; иная девушка, быть может, и годилась бы ему, но он тем не менее не получит ее. Есть, значит, правила благоразумия, которые должны ограничивать поиски рассудительного отца. Он не должен гнаться для своего питомца за состоянием, которое выше его ранга, ибо это не от него зависит. Да если бы и мог, он все-таки не должен желать этого; ибо какое дело молодому человеку до рангов по крайней мере моему питомцу? Меж тем, забираясь вверх, он подвергается тысяче действительных зол, которые будет чувствовать всю жизнь. Я думаю даже, что он не должен стремиться и к уравниванию при помощи таких разнородных благ, как знатность и деньги, потому что каждое из них не столько возвышает цену другого, сколько извращает его, потому что люди никогда не сходятся в общей оценке, наконец, потому, что предпочтение, которое каждый отдает своему, подготавливает раздор между семьями, а часто и между супругами.

Кроме того, для правильности брака далеко не безразлично, берет ли мужчина супругу выше себя по званию, или ниже. Первый случай совершенно противен рассудку, второй — сообразнее с ним. Так как семья связана с обществом только через своего главу, то званием этого главы регулируется положение целой семьи. Когда он ищет подругу в более низком звании, он не спускается книзу, но возвышает свою супругу; наоборот, выбирая жену выше себя по званию, он унижает ее, не возвышаясь сам. Таким образом, в первом случае есть доля добра, без примеси зла, во втором есть зло, но нет добра. Притом же порядок природы требует, чтобы женщина повиновалась мужчине. Поэтому, если последний берет жену из более низкого звания, порядок природы и порядок гражданский согласуются друг с другом — и все идет хорошо. Обратное бывает, когда, взяв жену выше себя по званию, мужчина должен выбрать одно из двух — поступиться или своим правом, или признательностью и быть или неблагодарным, или презираемым. В этом случае жена, претендуя на власть, делается тираном своего главы; а повелитель, ставши

рабом, оказывается самой смешной и самою жалкой из тварей. Таковы те несчастные фавориты, которых азиатские цари награждают и мучат своими брачными связями, которые, говорят, когда ложатся с женами, то не смеют иначе взбираться на кровать, как со стороны ног.

Я ожидаю, что многие читатели, помня, что я приписываю женщине природный талант управлять мужчиною, обвинят меня здесь в противоречии; однако же они будут в заблуждении. Большая разница, присваивает ли она себе право повелевать или управлять тем, кто повелевает. Власть женщины — это власть кротости, ловкости и угодливости; ее приказания — это ласки, угрозы ее — слезы. Она должна царить в доме, как министр в государстве, — заставляя давать ей такие повеления, каких ей хочется. В этом смысле достоверно, что лучшими семьями бывают те, где женщина имеет больше всего влияния; но если она не признает голоса главы, если хочет захватить его права и повелевать сама, то результатом этого беспорядка всегда бывает лишь нищета, скандал и бесчестье.

Остается выбор между равными и низшими; и я думаю, что приходится сделать еще несколько ограничений относительно этих последних; ибо трудно найти между подонками народа супругу, способную создать счастье честного человека, — не потому, чтобы в наших классах люди порочнее были, чем в высших, но потому, что там мало имеют понятий о том, что прекрасно и честно, а справедливость других сословий побуждает это сословие считать справедливым даже самые пороки свои.

От природы человек почти не мыслит. Мышление есть искусство, которому он научается, как и всем другим, и даже еще с большим трудом. Для того и другого пола я знаю всего два класса, действительно отличные один от другого, — класс людей мыслящих и класс людей немыслящих, и это различие происходит почти единственно от воспитания. Мужчина, принадлежащий к первому из этих классов, не должен родниться браком с другим классом; ибо общение лишено бывает своей наибольшей привлекательности, когда, имея жену, он принужден бывает мыслить в одиночку. Мысли людей, которые буквально всю жизнь проводят в работе из-за куска хлеба, нечем иным не заняты, как их работой или выгодой, и весь ум их как бы уходит в их руки. Это невежество не вредит ни честности, ни нравственности; часто оно даже содействует им; а с помощью размышления о своих обязанностях часто вступают в сделку с совестью и кончают тем, что вещи заменяют фразами. Совесть — самый просвещенный из философов; чтобы быть добродетельным человеком, для этого нет нужды знать «Обязанности» Цицерона ²⁹, и самая чест-

ная в мире женщина, быть может, меньше всего знает, что такое честность. Но не менее справедливо и то, что один только просвещенный ум делает сношения приятными; а для отца семейства, который любит быть в семье, грустно, если он принужден замыкаться в самом себе и если некому понимать его.

К тому же, каким образом женщина, совершенно не привыкшая к размышлению, станет воспитывать детей своих? как разберет она, что для них пригодно? как расположит к добродетелям, которые ей незнакомы? как вселит достоинства, о которых не имеет никакого понятия? Она сумеет лишь ласкать или грозить, сделать их дерзкими или трусливыми; она создает из них жеманных обезьян или ветреных шалопаев, но они никогда не выйдут ни рассудительными умами, ни милыми детьми.

Не следует, значит, мужчине, получившему воспитание, брать жену невоспитанную, а следовательно, и из того сословия, где она не могла бы получать воспитание. Но простая и грубо воспитанная девушка для меня все-таки во сто раз приятнее ученой и «остроумной» девы, которой захотелось бы учредить в моем доме литературное судилище и сделать себя председательницей на нем. «Остроумная» жена — это бич для ее мужа, для детей, друзей, прислуги, всех людей. С гордой высоты прекрасного гения она пренебрегает всеми женскими обязанностями и начинает всегда с того, что превращает себя в мужчину — на манер де Ланкло. В свете она всегда смешна и совершенно справедливо подвергается порицанию, потому что это неизбежно бывает со всяким, кто бросает свое звание и не создан для того положения, которое хочет занять. Все эти женщины с великими талантами морочат ими одних лишь глупцов. Всякому бывает известно, кто тот художник или друг, который водит их пером или кистью, когда они работают; всякий знает, кто тот скромный литератор, который тайком подсказывает им изречения. Все это шарлатанство недостойно порядочной женщины. Если б у ней и были настоящие таланты, то своей претензией она их только унижала бы. Достоинство ее в том, чтобы быть неизвестною, слава ее — в уважении мужа, удовольствия ее — в счастье семейства. Читатели, — ссылаюсь на вас самих — скажите по совести: когда вы составляете лучшее мнение о женщине, входя в ее комнату, когда с большим почтением подходите к ней, — тогда ли, когда видите ее занятою работами, свойственными полу ее, заботами по хозяйству, окруженною домашним скарбом и детьми, или когда застаете ее пишущую стихи на своем туалетном столе, обложенною всякого сорта брошюрами и разноцветными записочками? Всякая ученая дева будет оставаться девою всю жизнь, если на земле будут разумные только мужчины.

Quoeris cur nolim te ducere, Galla? diserta es ³⁰.

За этими соображениями идет соображение относительно наружности; оно прежде всего бросается в глаза и после всего должно быть принято к сведению, но совершенно не принимать его в расчет все-таки нельзя. Большой красоты, мне кажется, скорее нужно избегать при женитьбе, чем гнаться за нею. Красота скоро блекнет вследствие обладания ею; недель через шесть она уже теряет всякое значение для обладателя; но опасности, порожденные ею, длятся, пока она существует. Если красивая женщина не ангел, то муж ее — самый несчастный из людей; да если б она и была ангелом, как она избавит его от неприятности быть постоянно окруженным врагами? Если бы крайнее уродство не было отталкивающим, я предпочитал бы его чрезмерной красоте, ибо так как то и другое скоро для мужа становятся безразличным, то красота делается неудобством, а уродливость — преимуществом. Но уродливость, вызывающая отвращение, есть величайшее из несчастий; это чувство не только не изглаживается, но постоянно усиливается и превращается в ненависть. Подобного рода брак — чистый ад; лучше смерть, чем такой союз.

Ищите во всем середины, не исключая самой красоты. Лицу приятному и ласковому, внушающему не любовь, но расположение, нужно отдать предпочтение; в этом случае не бывает ущерба мужу, а преимущество обращается в обоюдную пользу; миловидность не блекнет, подобно красоте; в ней есть жизнь, она беспрестанно возобновляется, и после тридцати лет брачной жизни честная женщина, не лишенная прелести, так же нравится своему мужу, как и в первый день.

Таковы размышления, остановившие мой выбор на Софи. Будучи, как Эмиль, воспитанницею природы, она более, чем всякая другая, создана для него: она будет женою *человека*. Она — ровня ему по рождению и достоинству, не ниже его по состоянию. Она не очаровывает с первого же взгляда, но с каждым днем более и более нравится. Ее главнейшая прелесть действует лишь постепенно и разворачивается лишь при интимном сближении: муж почувствует ее больше всякого другого. Воспитание ее не блестящее, но и не небрежное; она без учения обладает вкусом, без искусства — талантами, без познаний — рассудком. Ум ее не имеет сведений, но он настолько развит, что она может учиться: это хорошо подготовленная почва, которая только ждет семени, чтобы принести плод. Она не читала ни одной книги, кроме Баррема ³¹ и «Телемака», случайно попавшегося ей в руки. Но девушка, способная пристраститься к «Телемаку», может ли иметь бесчувственное сердце и невосприимчивый ум? О, милое невежество!

Счастливы тот, кому предназначено просвещать его! Она будет не профессором своего мужа, но учеником его; она не только не захочет подчинять его своим вкусам, но переймет его вкусы. Она будет дорожке для него всякой ученой: ему предстоит удовольствие всему обучать ее. Пора, наконец, им свидеться; постараемся сблизить их.

Мы уезжаем из Парижа грустными и задумчивыми. Это место болтовни не притягивает нас. Эмиль бросает презрительный взгляд на этот большой город и говорит с досадою: «Сколько пропало дней в тщетных поисках! Ах, не здесь подруга моего сердца! Друг мой! Вы это хорошо знали, но вам ни почем мое время и бедствия мои мало доставляют вам страдания». Я устремляю на него пристальный взор и говорю ему без всякого волнения: «Эмиль, уверены ли вы в том, что говорите?» Тотчас же он, переконфуженный, бросается мне на шею и, ни слова не сказав, сжимает меня в объятиях. Таким постоянно бывает его ответ, когда он не прав.

И вот мы едем по полям, как настоящие странствующие рыцари; мы не ищем, как они, приключений, — напротив, мы бежим от них, покидая Париж; но мы так похожи на них своим плутаньем, своей неровной ездой: мы то несемся вскачь, то плетемся шажком. Кто следил за моим образом действий, тот должен был наконец уже вникнуть в их дух; и я не могу представить себе читателя, настолько предубежденного обычаем, чтобы предполагать, будто мы оба спим в отличной, плотно закрытой почтовой карете, едем, ничего не видя, ничего не наблюдая, считая пропащим все время между отъездом и приездом и стараясь скоростью езды вознаградить потерю времени.

Люди говорят, что жизнь коротка, а я вижу, что они силятся сделать ее такою. Не умея употреблять времени, они жалуются на его скоротечность, но я вижу, что для них оно течет слишком медленно. Вечно поглощенные предметом, к которому стремятся, они с сожалением смотрят на промежуток, отделяющий их от него: одному хочется, чтобы скорее было «завтра», другому — чтобы наступил следующий месяц, третий перенесся за десять лет; никто не хочет жить «сегодня», никто не доволен текущим часом; все находят, что он идет слишком медленно. Но, жалуясь, что время течет слишком быстро, они лгут; они охотно платили бы за возможность ускорить его, охотно употребили бы свое состояние на то, чтобы растратить сразу всю жизнь; и нет, быть может, человека, который не превратил бы свои годы в очень небольшое число часов, если бы в его власти было отнять, в жертву скуке, те часы, которые ему в тягость, и, в жертву нетерпению, часы, отделяющие его от желанной минуты. Иной полжизни проводит в переездах из Парижа в Версаль, из Версаля в Париж, из города в деревню, из деревни в город, из одного

квартала в другой; он очень затруднялся бы, куда деть время, если бы не знал секрета тратить его подобным образом, и нарочно бежит от своих дел, чтобы заняться приисканием дела; он мечтает наверстать время, излишне употребляемое, с которым иначе не знал бы что делать, или, наоборот, ездить ради езды, мчится на почтовых с единственной целью вернуться подобным же образом. Смертные! перестаните ли вы когда-нибудь клеветать на природу? К чему вы жалуетесь, что жизнь коротка, раз она, по вашему мнению, еще слишком длинна? Если хоть один из вас сумеет быть настолько умеренным в своих желаниях, чтобы не погонять времени, он не станет считать его слишком кратким; жить и наслаждаться для него будет одно и то же; и, доведись ему умереть молодым, он умрет пресыщенным жизнью.

Если бы метода моя представляла только это преимущество, то уж в силу одного этого ее нужно было бы предпочесть всякой другой. Я воспитал своего Эмиля не для желаний или ожиданий, но для наслаждения; и если он уносится в своих желаниях за пределы настоящего, то вовсе не с тою стремительною пылкостью, при которой надоедает медлительность времени. Он будет наслаждаться не только удовольствием желать, но и удовольствием идти к желанной цели; а страсти его настолько умеренны, что он всегда живет более в настоящем, чем в будущем.

Итак, мы путешествуем не как курьеры, а как путешественники. Нас занимают не только два предела, но и промежуток, их разделяющий. Самое путешествие — для нас удовольствие. Мы совершаем его, не сумрачно сидя, как бы в заключении, в маленькой клетке, плотно замкнутой. Мы путешествуем не по-женски, среди неги и покоя. Мы не лишаем себя ни вольного воздуха, ни вида окружающих нас предметов, ни удобства рассматривать их когда вздумается. Эмиль никогда не сядет в почтовую карету и поедет на почтовых разве в том случае, если нужно торопиться. Но что может когда-либо торопить Эмиля? Единственная вещь — желание наслаждаться жизнью. Нужно ли прибавлять, что он торопится делать добро, когда только можно? Нет, ибо это тоже значит наслаждаться жизнью.

Я знаю только один способ путешествия более приятный, чем путешествие верхом: это пешее хождение. Тут отправляешься когда нужно; останавливаешься по своей воле; хочешь — идешь много, не хочешь — идешь мало. Наблюдаешь всю страну; завертываешь направо, налево; рассматриваешь все, что манит тебя; останавливаешься всюду, где открываются виды. Замечу речку — иду ее берегом; увижу ветвистую рощу — спешу под ее тень; встречаю грот —

захожу в него; нахожу каменоломню — рассматриваю минералы. Всюду, где мне нравится, я делаю привал. Как только почувствую скуку, в ту же минуту пускаюсь в путь. Я не нахожусь в зависимости ни от лошадей, ни от ямщика. Мне нет нужды выбирать благоустроенные дороги, удобные пути; я прохожу всюду, где человек может пройти; вижу все, что человек может видеть, и, завися лишь от себя самого, наслаждаюсь всею свободой, какою человек может наслаждаться. Если начинается дурная погода и мною овладевает скука, я беру лошадей. Если я устал... Но Эмиль почти не устает; он силен, да и отчего ему уставать? Ведь он не спешит. Как может он скучать, когда останавливается? Ведь у него всегда есть чем развлечься. Он заходит к мастеру — и работает: чтобы дать отдых ногам, он упражняет руки.

Путешествовать пешком — значит путешествовать на манер Фалеса³², Платона, Пифагора. Мне трудно понять, как может философ решиться путешествовать иначе, лишив себя удовольствия исследовать богатства, которые он попирает ногами и которые земля рассыпает на его глазах. Кто, мало-мальски любя земледелие, не захочет ознакомиться с произведениями, свойственными климату тех местностей, по которым он проходит, и со способом их обработки? Кто, имея хоть каплю интереса к естественной истории, решится пройти мимо почвы — не рассмотрев ее, мимо скалы — не отломив кусочка ее, мимо гор — не собрав растений, мимо кучи голышей — не поискав ископаемых? Ваши салонные философы изучают естественную историю в кабинетах; у них есть игрушки, они знают имена и не имеют никакого понятия о природе. Но кабинет Эмиля богаче всех королевских: кабинет этот — целая земля. Каждая вещь здесь на своем месте: Устроитель природы, заведующий ею, распределил все в самом образцовом порядке; Добантону³³ лучше этого не сделать.

Сколько соединяется разнообразных удовольствий при этом приятном способе путешествия! Не говорю уже о том, что тут укрепляется здоровье, просветляется настроение. Я всегда замечал, что люди, путешествующие в прекрасных, совершенно покойных каретах, бывают задумчивы, мрачны, ворчливы или нездоровы, а пешеходы всегда веселы, беззаботны, всем довольны. Как радуется сердце, когда подходишь к ночлегу! Каким вкусным кажется грубый ужин! С каким удовольствием садишься за стол! Как хорошо спится в жесткой постели! Когда желаешь лишь добраться до места, то можно ехать и в почтовой карете; но когда хочешь путешествовать, нужно идти пешком.

Если, прежде чем мы сделаем миль пятьдесят предполагаемым мною способом, Софи не будет забыта, то, значит, или я слишком

неловок, или Эмиль очень нелюбознателен; ибо трудно ожидать, чтобы при таком запасе начальных сведений ему не захотелось приобрести их еще больше. Любознательным становишься лишь по мере обучения; а он знает столько именно, сколько нужно для желания учиться.

Меж тем один предмет сменяется другим, и мы подвигаемся все вперед. Конец для первого нашего путешествия я предназначил не близкий — предлог к тому легко найти, покидая Париж, нужно искать жену где-нибудь подальше.

Однажды, проблуждав больше обыкновенного по долинам, по горам, где не видно было никакой дороги, мы совершенно сбиваемся с пути. Дело не важное: все дороги хороши, лишь бы вели куда-нибудь; но когда проголодался, нужно же где-нибудь пристать. К счастью, мы встречаем крестьянина, который и ведет нас в свою хижину; мы с большим аппетитом садимся за его скудный обед. Видя, что мы так устали, так проголодались, он говорит нам: «Если бы бог помог вам пробраться на ту сторону холма, вас бы приняли лучше... Вы встретили бы мирный дом, — людей, таких сострадательных... добрые люди!.. Сердце у них не лучше, чем у меня, но они богаче, — хотя прежде, говорят, были еще богаче... Слава богу!.. Дела у них не плохи; кое-что от них перепадает и для всей округи».

При словах «добрые люди» сердце доброго Эмиля повеселело. «Друг мой! — говорит он, бросая на меня взор. — Пойдем в этот дом, хозяева которого благословляются соседями; мне бы очень хотелось их видеть; может быть, и им также приятно будет нас видеть. Я уверен, что они хорошо нас примут; если они сойдутся с нами, то мы и подавно сойдемся с ними».

Собрав сведения о расположении дома, мы отправляемся; долго мы блуждаем по лесам; нас застает сильный дождь; он задерживает нас, хотя и не останавливает. Наконец мы находим дорогу и вечером достигаем указанного дома. Среди окружающей деревушки один этот дом, хотя и простой, имел некоторую представительность. Мы называем себя, просим гостеприимства. О нас посылают сказать хозяину; он расспрашивает нас, правда, приветливо; не говоря о цели нашего путешествия, мы объясняем, с какой целью дали крюку. От прежней жизни в достатке в нем сохранилось умение распознавать звание людей по их манерам: кто жил в большом свете, тот редко обманывается в этом отношении; по этому паспорту мы приняты.

Нам показывают комнату, очень маленькую, но чистую и удобную; в ней разводят огонь, мы находим белье, платье, все, что нужно. «Вот так раз! — говорит в изумлении Эмиль, — можно подумать, что нас ожидали! Как был прав крестьянин! какое внимание! какая

доброта! какая предупредительность! и это по отношению к незнакомым! Мне кажется, что я перенесся во времена Гомера». — «Будьте благодарны за все это, — говорю я ему, — но не удивляйтесь: где пришлые люди редки, там они всегда — желанные гости; ничто так не развивает гостеприимства, как редкость тех случаев, когда нужно его выказать, и лишь наплыв гостей искореняет гостеприимство. Во время Гомера почти не путешествовали; потому-то и путешественники были всюду хорошо принимаемы. Мы, быть может, единственные прохожие, которых видели здесь за целый год». «Что за беда! — возражает он, — похвально уже и то, что здесь умеют обходиться без гостей и все-таки всегда хорошо их принимать».

Обсохнув и оправившись, мы идем к хозяину дома; он знакомит нас с женой своей; та принимает нас не только вежливо, но и радушно. Ее взоры больше направлены на Эмиля. Мать в подобном случае редко принимает в своем доме мужчину таких лет — без тревоги или, по меньшей мере, без любопытства.

Торопят подавать ужин — из внимания к нам. Войдя в столовую, мы видим пять приборов; мы рассаживаемся, один остается пустым. Входит молодая особа, делает глубокий поклон и скромно садится, не говоря ни слова. Эмиль, занятый утолением голода или обдумыванием ответов, кланяется ей, говорит и ест. Главная цель его путешествия столь же далека от его мыслей, сколь далеким от конца пути он считает себя самого. Разговор вертится на том, как наши путники сбились с пути. «Я вижу в вас, сударь, — говорит ему хозяин дома, — милого и разумного юношу, и ваше прибытие сюда, усталыми и измокшими, вместе с вашим воспитателем, поневоле наводит меня на мысль о прибытии Телемака и Ментора на остров Калипсо». «Это правда, — отвечает Эмиль, — что мы находим здесь гостеприимство Калипсо». — «И прелести Эвхарисы», — добавляет его ментор. Но Эмиль знаком с «Одиссеей» и не знаком с «Телемаком»; он не знает, что такое Эвхариса. Что же касается молодой особы, то она — я вижу — краснеет до ушей, опускает глаза к тарелке и не смеет рта раскрыть. Мать, замечая ее замешательство, делает знак отцу, и тот переменяет разговор. Говоря о своем уединении, он незаметно переходит к рассказу о событиях, забросивших его сюда, о несчастьях своей жизни, о твердости своей супруги, об утешениях, которые они встретили в своем уединении, о кроткой и мирной жизни, которую они ведут в этом убежище, — и все время не говорит ни слова о молодой особе; рассказ оказывается таким приятным и трогательным, что его нельзя было слушать без интереса. Эмиль, взволнованный, расстроганный, перестает есть и слушает. Наконец, в тот момент, когда честнейший из мужчин с особенным удовольствием толковал о при-

вязанности достойнейшей из женщин, молодой путешественник, не помня себя, схватывает руку мужа и пожимает ее, а другою рукой берет руку супруги и с восторгом нагибается к ней, орошая ее слезами. Наивная живость молодого человека восхищает всех; а молодой девушке, больше, чем кто-либо другой, тронутой этим признаком его сердечной доброты, кажется, что она видит Телемака, взволнованного бедствиями Филоктета ³⁴. Она украдкой переносит на него взоры, чтобы лучше рассмотреть его фигуру, и не находит в ней ничего такого, что не оправдывало бы сравнения. Открытый вид его дышит свободой — без заносчивости; манеры его живы, но не напоминают вертопраха; порыв чувствительности делает взор его более кротким, физиономию более привлекательною; молодая особа, видя его проливающим слезы, готова примешать к ним и свои. Но, несмотря на такой прекрасный предлог, тайный стыд ее удерживает; она уже упрекает себя в том, что готова расплакаться, как будто проливать слезы из-за семьи своей дурно.

Мать, с самого начала ужина не перестававшая зорко наблюдать за ней, видит ее стеснение и избавляет ее, послав с каким-то поручением. Минуту спустя молодая девушка возвращается, но настолько еще не успокоенною, что расстройство ее бросается всем в глаза. Мать кротко говорит ей: «Софи, приди же в себя! Перестань оплакивать несчастья своих родителей. Ты утешение для них — не будь же чувствительнее их самих к горю».

При имени Софи можно было увидеть, как Эмиль вздрогнул. Пораженный столь дорогим звуком, он сразу приходит в себя и бросает жадный взор на ту, которая осмеливается носить это имя. Софи, Софи! неужели это тебя ищет мое сердце? неужели тебя мое сердце любит? Он наблюдает, рассматривает ее с некоторого рода опасением и недоверием. Видит, что перед ним не та самая фигура, какую он создал себе воображением, и не знает, лучше она или хуже. Он изучает каждую черту, выслеживает каждое движение, каждый жест; на все находит тысячу неясных толкований; он отдал бы полжизни, лишь бы она захотела промолвить хоть слово. Беспокойный и смущенный, он смотрит на меня; глаза его задают мне сразу сотню вопросов, делают сотню упреков. Он как бы говорит мне с каждым взглядом: «Руководите же мною, пока есть время; если сердце мое отдастся и обманется, мне во всю жизнь уже не опомниться».

Эмиль меньше всех в свете умеет маскироваться. Да и как он мог бы прикинуться в момент наибольшего в своей жизни смущения, среди четырех зрителей, тщательно за ним следивших, из которых самый рассеянный на вид был в действительности самым внимательным? Расстройство его не ускользает от проницательного взора Со-

фи; по его глазам она отлично видит, что причина этого — она сама; она видит, что эта тревога не есть еще тревога любви, но что за дело? Он занят ею — и этого достаточно: она будет очень несчастной, если это пройдет ему безнаказанно.

Матери смотрят глазами дочерей, и у них больше опытности. Мать Софи рада успеху наших замыслов. Она умеет читать в сердцах обоих молодых людей; она видит, что пора дать точку опоры сердцу нового Телемака, и заставляет дочь свою заговорить. Дочь, при своей природной кротости, отвечает робким тоном, который только усиливает впечатление. При первом же звуке этого голоса Эмиль сдался: это Софи — в этом уж нет сомнения. Если б это была и не она, слишком уже поздно отрекаться.

Тут-то чары этой обворожительной девушки потоками устремляются в его сердце, и он большими приемами начинает глотать яд, которым она его опаивала. Он перестает говорить, он уже не отвечает, видит одну Софи, слышит только Софи: она молвит слово — и он открывает уста; она опускает глаза — и он опускает свои; она вздохнет — и он вздыхает: душа Софи стала, кажется, его душой. И какие перемены в несколько моментов! Теперь уже не Софи трепещет — теперь очередь Эмиля. Куда девалась свобода, наивность, откровенность! Сконфуженный, смущенный, боязливый, он не смеет уже поднять глаза из опасения увидеть, как на него смотрят. Мучимый сознанием, что его видят насквозь, он хотел бы сделаться для всех невидимым, чтобы насытиться созерцанием и не быть самому под наблюдением. Софи, напротив, освобождается от замешательства перед Эмилем; она видит свое торжество, она наслаждается им:

Nol mostra qia, ben che in suo cor ne rida ³⁵.

Она не изменяет обращения; но, несмотря на этот скромный вид и эти опущенные взоры, ее нежное сердце трепещет от радости и говорит ей, что Телемак нашелся.

Если я углублюсь здесь в историю их невинной любви, быть может слишком наивную и простую, читатель станет смотреть на эти мелочи как на пустую игру — и будет в этом не прав. Недостаточно обращают внимания на влияние, которое должно иметь первое сближение мужчины с женщиной на всю последующую их жизнь; не видят, что первое впечатление — столь живое, как впечатление любви или другой заменяющей ее склонности, — влечет за собой продолжительные последствия, сцепления которых мы не замечаем при чередовании лет жизни, но которые не перестают действовать до самой смерти. В трактатах о воспитании нам предлагают длинные разглагольствования, бесплодные и педантичные, о химерических обяза-

ностях детей и ни слова не говорят нам о самой важной и труднейшей части всего воспитания, именно о кризисе, который служит переходом от детства к возмужалости. Если мои очерки будут в некотором отношении полезны, то особенно потому, что я счел возможным подольше остановиться на этой существенной части, опущенной всеми прочими, и не отказался от своего предприятия из-за ложной щепетильности или пугая трудностями языка. Если, что следовало бы делать, я лишь говорил, зато и говорил я то, что должен был говорить; мне мало дела до того, что у меня вышел роман. История человеческой природы — это довольно прекрасный роман. Виноват ли я, если он встречается только в этой книге? Разве такую должна быть история рода человеческого? Вы, искажающие этот род, — вы и делаете из моей книги роман.

Другое соображение, служащее подкреплением первому, заключается в том, что ведь здесь дело идет не о таком молодом человеке, который с самого детства отдан в жертву страху, алчности, зависти, гордости и всем страстям, служащим в качестве орудия при обычных способах воспитания; что здесь речь идет о молодом человеке, испытывающем в данном случае не только первую любовь, но и вообще первую страсть; что от этой страсти, единственной, быть может, которую он будет живо вспоминать всю жизнь, зависит окончательная форма, в которую должен вылиться его характер. Его образ мыслей, чувствования, вкусы, прочно установившись под влиянием продолжительной страсти, приобретут устойчивость, которая не позволит уже им меняться.

Понятно, что после подобного вечера ночь у нас с Эмилем не вся проходит во сне. Как! неужели одно сходство имен могло проявить такую силу над благоразумным человеком? Разве в мире всего одна Софи? Неужели у всех у них и одинаковая душа, как одинаково имя? Значит, все, каких он увидит, ему и предназначены! Не безумно ли пристраститься так к незнакомке, с которой он ни разу даже не говорил? Подождите, молодой человек, рассматривайте, наблюдайте. Вы даже еще не знаете, у кого вы; а послушаешь вас — подумаешь, что вы уже в своем доме.

Но теперь не время для правоучений, да их никто бы не стал и слушать. Они только еще более заинтересовывают молодого человека Софи, возбуждая в нем желание оправдать свое увлечение. Это совпадение имен, эта встреча, которую он считает случайной, самая осторожность моя только увеличивают его возбуждение: Софи уже настолько казалась ему достойной любви, что он вполне уже рассчитывал и меня заставить полюбить ее.

Я догадывался, что на следующее утро Эмиль, как ни плохо его

дорожное платье, постарается тщательнее приодеться. Так и выходит; но меня потешает поспешность, с какою он облачается в хозяйское белье. Я проникаю в его мысль; я с удовольствием читаю в ней, что ему хочется, подготовив неизбежность возвращения обмена вещей, установить нечто вроде корреспонденции, которая давала бы ему право пересылать сюда вещи и заезжать самому.

Я ожидал, что с своей стороны и Софи несколько принарядится, но я обманулся. Это вульгарное кокетство пригодно ради тех, кому хотят только поправиться. Кокетство истинной любви утонченнее; у него много иных претензий. Софи оделась еще проще, чем накануне, и даже небрежнее, хотя все с тою же педантичной опрятностью. Я лишь потому не вижу кокетства в этой небрежности, что вижу в ней искусственные расчеты: Софи хорошо знает, что более изысканный наряд — то же объяснение в любви; но она не знает, что более небрежный наряд — объяснение в другом роде; она показывает, что тут не довольствуются тем, чтобы правиться своим нарядом, но желают поправиться и своей особой. Ах! какое дело возлюбленному до того, в чем она одета? ему лишь бы видеть, что она занята им. Уже уверенная в своей власти, Софи не ограничивается желанием поразить своими прелестями взоры Эмиля — она хочет, чтобы их искало и сердце его; ей уже недостаточно того, что он видит их, — ей хочется, чтобы он предполагал их. Ведь он уже столько видел, что должен догадаться и об остальном.

Нужно думать, что во время наших ночных бесед Софи и мать ее тоже не оставались немymi; там тоже были вырваны признания, преподаны наставления. На другой день все собираются хорошо подготовленными. Нет еще двенадцати часов, как наши молодые люди уже свиделись; они не сказали друг другу еще слова, а уже видно, что друг друга понимают. Обхождение их не дружески свободное, в нем видны замешательство, робость; они не говорят друг с другом; их опущенные взоры как бы избегают друг друга — и даже это служит признаком взаимного понимания: они избегают один другого, но зато сообщая; ничего не сказав еще, они уже чувствуют потребность тайны. Отправляясь, мы просим позволения самим занести вещи, которые уносим. Устами Эмиль просит позволения у отца, матери; меж тем беспокойные взоры его, устремленные на дочь, гораздо настойчивее обращаются с просьбою к этой последней. Софи не говорит ни слова, не делает никакого знака, как будто не видит и ничего не слышит; но она краснеет, а этот румянец более ясный ответ, чем слова ее родителей.

Нам позволяют зайти, не приглашая оставаться. Такое поведение совершенно уместно: можно дать приют путникам, которые ищут

ночлега, но неприлично возлюбленному ночевать в доме возлюбленной.

Едва мы оставили этот милый дом, как у Эмиля является мысль поселиться в окрестностях; соседняя хижина кажется ему уже слишком отдаленной: ему хотелось бы ночевать в канаве у господского дома. «Юный ветреник! — говорю я ему тоном соболезнования, — как? вас уже ослепляет страсть? Вы уже не видите, пристойно ли это, разумно ли это? Несчастный! вы воображаете, что любите, — и вы же хотите осрамить свою возлюбленную! Что скажут о ней, когда узнают, что молодой человек, вышедший из ее дома, ночевал в окрестности? Вы говорите, что любите ее! Зачем же вы хотите запятнать ее репутацию? Так-то вы отплачиваете за гостеприимство, оказанное вам ее родителями? Неужели вы хотите навлечь попреки на ту, от которой ожидаете своего счастья?» — «Ах! что мне за дело, — отвечает он с живостью, — до пустых толков людей и до несправедливых их подозрений? Не вы ли сами научили меня не придавать им никакого значения? Кто знает лучше меня, насколько я почитаю Софи, какого хочу для нее уважения? Моя привязанность не составит позора для нее, она составит ее славу, она будет достойной ее. Если я в сердце своем и на деле буду всюду оказывать ей то почтение, которого она заслуживает, то чем же могу оскорбить ее?» — «Дорогой Эмиль! — возражаю я, обнимая его, — вы рассуждаете в своих интересах; научитесь рассуждать в ее интересах. Не сравнивайте чести одного пола с честью другого: тут совершенно различные принципы. Но эти принципы одинаково прочны и разумны, потому что они одинаково исходят от природы, потому что та же добродетель, которая заставляет вас ради вас самих презирать людские толки, обязывает вас уважать эти же толки ради вашей возлюбленной. Ваша честь — в одних ваших руках, а ее честь зависит от других. Пренебрегать ее честью значило бы оскорблять свою собственную, и вы сами не заслуживаете должного, если служите причиной того, что ей не воздают должного».

Выяснив ему основания этих различий, я даю ему почувствовать, какой несправедливостью было бы нежелание принимать их в расчет. Кто это сказал ему, что он будет супругом Софи, чувств которой он не знает, сердце которой, вместе с родителями, быть может, уже раньше дало обязательство, — супругом девушки, с которой он незнаком и по отношению к которой ему, быть может, недостает какого-нибудь из условий, необходимых для счастья брака? Разве он не знает, что всякий скандал ложится на девушку неизгладимым пятном, которое остается даже после брака с лицом, бывшим его причиной? Ах! какой одаренный чувством человек решился бы погу-

бить ту, кого он любит? Какой честный человек захочет заставить несчастную вечно оплакивать то, что она, на беду себе, полюбилась ему?

Молодой человек, в ужасе от последствий, которые я ему представил, снова оказывается крайним в своих решениях, и ему уже думается, что он слишком близок к жилищу Софи; он удваивает шаг, чтобы скорее убежать; он осматривается кругом, не подслушал ли кто нас; он уже готов тысячу раз пожертвовать своим счастьем за честь возлюбленной; он согласился бы лучше не видеть ее всю жизнь, чем причинить ей хоть одно неудовольствие. Это первый плод забот, предпринятых мною с самой юности его, с целью образовать в нем сердце, умеющее любить.

Все дело, значило, за тем, чтобы найти убежище — отдаленное, но все-таки сподручное. Мы ищем, осведомляемся; узнаем, что до города отсюда добрых две мили; мы предпочитаем найти квартиру в городе, а не в ближних деревнях, где наше пребывание стало бы подозрительным. Сюда-то наконец и прибывает наш новый возлюбленный, полный любви, надежды, радости и особенно добрых чувств. Вот каким образом, направляя мало-помалу зарождающуюся страсть к доброму и честному, я незаметно придаю всем его склонностям тот же склад.

Я приближаюсь к концу моего поприща; я уже вижу вдали этот конец. Все великие трудности побеждены, все важные препятствия преодолены; ничего трудного уже не остается — лишь бы не испортить своего дела торопливым завершением его. При той неизвестности, которая окружает человеческую жизнь, станем особенно избегать ложной предусмотрительности, заставляющей настоящим жертвовать для будущего; это часто значит приносить в жертву то, что есть тому, чего не будет. Устроим, чтобы человек был счастлив во все возрасты, — из опасения, чтобы, после массы забот, он не умер, не отведав счастья. Меж тем если есть пора для наслаждения жизнью, то, конечно, этой порой бывает последнее время юности, когда телесные и душевные способности приобрели наибольшую крепость, когда человеку, находящемуся на половине его пути, оба конца, дающие чувствовать краткость этого последнего, виднеются лишь вдали. Если неосмотрительная юность обманывается, то не в том, что она хочет наслаждаться, а в том, что ищет наслаждения там, где его нет, и, готовя себе жалкое будущее, не умеет даже пользоваться настоящим моментом.

Посмотрите на моего Эмиля! Ему исполнилось двадцать лет; он хорошо сформирован, хорошо сложен духом и телом, силен, здоров, проворен, ловок, крепок, полон смысла, рассудка, доброты, гуман-

ности, отличается нравственностью, вкусом, любит прекрасное, любит делать добро, свободен от господства жестоких страстей, изъят из-под ига людского мнения, но подчинен закону мудрости и послушен голосу дружбы; он обладает всеми полезными талантами и многими приятными талантами, не заботится о богатствах, нося источник их в своих руках, и, что бы ни случилось, не боится остаться без хлеба. Теперь вот он опьянен зарождающейся страстью; сердце его открывается для первого огня любви; сладкие иллюзии создают ему новый мир радостей и наслаждения; он любит милый предмет, который еще милее по характеру, чем по наружности; он ждет взаимности, которой чувствует себя достойным.

Из сходства сердец, из встречи честных чувств развилась их первая склонность: эта склонность должна быть прочной. Самому обольстительному бреду он предается с доверием, даже разумно, без страха, без сожаления, без угрызений совести, без всякой иной тревоги, кроме той, с которой неразлучно ощущение счастья. Чего может недоставать его счастью? Смотрите, ищите, придумывайте, что ему еще нужно и что можно прибавить к тому, что у него есть. Для него соединились все блага, которые можно получить разом; прибавить к ним что-нибудь можно лишь в ущерб другому; он счастлив столько, сколько возможно для человека! И неужели я в такой момент положу предел столь сладкой участи? Мне ли нарушать столь чистое блаженство? Ах! вся ценность жизни — в том блаженстве, которое он вкушает. Что я могу дать ему равносильного тому, что отниму у него? Даже завершая его счастье, я разрушил бы самую упоительную чару. Это высшее счастье в сто раз приятнее ожидать, чем получить; когда ждешь его, больше наслаждаешься, чем когда вкушаешь. О, добрый Эмиль! люби и будь любим! насладись дольше, прежде чем обладать; наслаждайся зараз и любовью, и невинностью; создай на земле себе рай в ожидании другого: я не прерву этого счастливого времени твоей жизни; я буду поддерживать твоё очарование; я продолжу его, насколько это будет мне возможно. Увы! Оно должно окончиться — и окончиться в короткое время; но я постараюсь по крайней мере, чтобы оно всегда жило в твоей памяти и чтобы ты никогда не раскаивался в том, что вкусил его.

Эмиль не забыл, что нам нужно кое-что возвратить. Как только вещи были готовы, мы берем лошадей и летим во весь дух; на этот раз, в минуту отправления, ему хотелось бы быть уже там. Когда сердце открывается для страстей, оно открывается и для жизненной скуки. Если я не потерял даром времени, то не вся его жизнь будет проходить таким образом.

К несчастью, дорога оказывается с массой поворотов и мест-

ность — трудной для проезда. Мы сбиваемся с пути; он первый замечает это и, не выказывая нетерпения, не жалуясь, пускает в ход все свое внимание, отыскивая дорогу; он долго плутает, прежде чем выбраться на дорогу, и все время сохраняет свое хладнокровие. Для вас это неважно, но для меня, знакомого с его вспыльчивым нравом, это весьма важно: я вижу тут плод заботливости, с какой я с самого детства приучал его покоряться требованиям необходимости.

Наконец мы прибываем. Нас принимают гораздо проще и ласковее, чем в первый раз: мы уже старые знакомые. Эмиль и Софи кланяются друг другу с некоторым замешательством и по-прежнему не говорят ни слова: о чем им говорить в нашем присутствии? Для беседы, которая им нужна, не нужно свидетелей. Общество гуляет в саду. Вместо особого цветника в этом саду — огород, очень искусно разбитый; вместо парка — площадь, покрытая большими и прекрасными фруктовыми деревьями всяких сортов, перерезанная в разных направлениях красивыми ручейками и грядками, полными цветов.

«Прекрасное место! — восклицает Эмиль, занятый своим Гомером и все время бывший в восторге. — Мне кажется, что я вижу сад Алкиноя». Дочери хотелось бы знать, кто такой Алкиной, и мать задает вопрос. «Алкиной, — говорю я им, — был царем Коркиры; сад его, описанный Гомером, раскритикован людьми со вкусом³⁶ за то, что был слишком прост и слишком мало разукрашен *. У этого

* Был за широким двором четырехдесятиный богатый Сад, обведенный отсюду высокою оградой; росло там Много дерев плодоносных, ветвистых, широковершинных, Яблонь, и груш, и гранат, золотыми плодами обильных, Также и сладких смоковниц, и маслин, роскошно цветущих. Круглый там год — и холодную зиму, и в знойное лето — Видимы были на ветвях плоды; постоянно там веял Теплый зефир, зарождаю одни, наливая другие; Груша за грушей, за яблоком яблоко, смоква за смоквой, Гроздь пурпуровый за гроздом сменялись там созревая, Там разведен был и сад виноградный богатый; и гроздь Частью на солнечном месте лежали, сушимые зноем, Частью ждали, чтобы срезал их с глаз виноградарь; иные Были давимы в чапах, а другие цвели иль, осыпав Цвет, созревали и соком янтарногустым наливались. Саду границей служили красивые гряды, с которых Овощ и вкусная зелень весь год собиралась обильно. Два там источника были: один обтекал, извиваясь, Сад, а другой перед самым порогом царева жилища Светлой струею бежал, и граждане в нем черпали воду.

Таково описание царского сада Алкиноя в VII книге «Одиссея», — сада, в котором, к стыду этого старого мечтателя Гомера и государей

Алкиноя была милая дочь, которая накануне того, как один иноземец был гостеприимно принят в дом отца ее, видела сон, что ей скоро быть замужем». Софи, смущенная, краснеет, опускает глаза, кусает губы; трудно представить себе весь ее конфуз. Отец, которому хочется увеличить его, вмешивается в разговор и замечает, что юная царица сама ходила мыть белье на реку. «Как вы думаете? — продолжал он. — Боялась ли она дотронуться до грязных салфеток и говорила ли, что от них пахнет салом?» Софи, задетая за живое, забыв свою природную робость, с живостью оправдывается. Ее отец хорошо знает, что, если б ей позволили *, она лучше всякой прачки справлялась бы со всем мелким бельем и еще с большим удовольствием делала бы это, если б ей приказали. Говоря это, она украдкой бросает на меня взгляды с тревогой, над которой я не мог не посмеяться, читая в ее открытом сердце волнение, вызвавшее эти речи. Отец ее был настолько жесток, что подхватил это опрометчивое замечание и спрашивает у нее насмешливым тоном, с какой стати она говорит здесь о себе и что у нее общего с дочерью Алкиноя. Пристыженная и трепещущая, она не осмеливается вымолвить слова или взглянуть на кого-нибудь. Прелестная девушка! теперь уж поздно притворяться: ты уж помимо воли объяснилась в любви.

Вскоре эта маленькая сценка была забыта или, скорее, как будто забыта. К счастью для Софи, Эмиль один ничего не понял. Прогулка продолжается, и нашим молодым людям, которые сначала шли рядом с нами, с того и другого боку, трудно было приноровиться к нашей медленной походке; они опережают нас, приближаются друг к другу и, наконец, идут совсем рядом, и мы их видим довольно далеко впереди. Софи кажется внимательною и степенною. Эмиль с жаром говорит и жестикулирует; разговор, по-видимому, не наводит на них скуки. Проходит добрый час — мы возвращаемся, зовем их; они идут назад, но, в свою очередь, медленно, и видно, что выгадывают время. Наконец, разговор их сразу прерывается, прежде чем мы могли бы его расслышать, и они удваивают шаги, чтобы нагнать нас. Эмиль подходит к нам с открытым и ласковым видом; глаза его блестят от радости; однако он с некоторым беспокойством посматривает на мать Софи, чтобы видеть, как она примет все это. Софи далеко не так развязна; подходя, она кажется совершенно переконфуженной тем, что была с глазу на глаз с молодым человеком, хотя ей так часто приходи-

того времени, не виднелось ни решеток, ни статуй, ни каскадов, ни деревянных лужаек.

* Признаюсь, я отчасти благодарен матери Софи за то, что она не позволила портить мылом эти нежные ручки, которые Эмилю так часто придется целовать.

лось бывать в таком положении со многими другими, не испытывая никакого замешательства, — и никто не находил этого дурным. Она поспешно бежит к матери, несколько запыхавшись, произнося какие-то незначащие слова, как будто с целью сделать вид, что она давно уже тут.

По ясности, разлитой на лицах этих милых детей, видно, что беседа сняла с юных сердец большую тяжесть. Они по-прежнему сдержанны по отношению друг к другу, но в сдержанности уже меньше замешательства; она происходит уже только от почтительности Эмиля, скромности Софи и честности их обоих. Эмиль уже осмеливается обращаться к ней с двумя-тремя словами; иной раз и она осмеливается отвечать, но всякий раз, как открывает уста, непременно предварительно взглянет на мать. Самой заметной кажется перемена в ее обращении со мною. Она усерднее старается засвидетельствовать ко мне свое уважение, смотрит на меня с участием, говорит ласково, старается угодить мне; я вижу, что она удостоивает меня своего уважения и что ей хочется добиться и моего. Я понимаю, что Эмиль уже говорил с нею обо мне; можно было бы подумать, что они уже сговорились подкупить меня; однако ничего подобного еще нет, да и сама Софи не скоро еще сдастся. Быть может, ему будет нужнее мое ходатайство перед ней, чем ей — ходатайство передо мной. Прелестная парочка!.. При мысли, что чувствительное сердце моего юного друга уделило мне значительное место в его первой беседе со своею возлюбленной, я чувствую, что награжден за свой труд; дружба его за все мне отплатила.

Посещения повторяются. Беседы между молодыми людьми становятся более частыми. Эмиль, опьяненный любовью, думает уже, что достиг счастья. Однако же он не получает формального признания от Софи; она его слушает и ничего ему не говорит. Эмилю известна ее скромность; такая сдержанность мало его удивляет; он чувствует, что она не дурного о нем мнения; он знает, что браки детей устраивают отцы, и предполагает, что Софи ждет приказа своих родителей; он просит у нее позволения похлопотать об этом, она не противится. Он сообщает об этом мне; я говорю от его имени, даже в его присутствии. Каково его изумление, когда он узнает, что Софи зависит от одной себя и, чтобы сделать его счастливым, ей стоит лишь захотеть! Поведение ее становится для него совершенно непонятным. Уверенность его ослабевает. Он тревожится, видит, что успех его не так велик, как он думал; и вот тут-то нежнейшая любовь пускает в ход самые трогательные речи, чтобы склонить ее.

Эмиль не способен догадаться, что ему вредит: если ему не сказать, он не узнает вовеки, а Софи настолько горда, что не станет говорить

ему. Затруднения, ее останавливающие, другую только подстрекали бы. Она не забыла уроков своих родителей. Она бедна, Эмиль богат — она это знает. Какую степень уважения ему нужно от нее? Какие ему нужны достоинства для того, чтобы сгладить это неравенство? Но разве ему могут прийти в голову эти препятствия? Знает ли Эмиль, что он богат? Считает ли он нужным даже хоть осведомляться об этом? Слава богу, ему нет никакой нужды быть богачом, он умеет делать добро и без этого. Добро, которое делает, он извлекает из своего сердца, а не из кошелька. Он отдает несчастным свое время, свои заботы, привязанности, свою личность; при оценке своих благодеяний он едва решается принимать сколько-нибудь в расчет те деньги, которые расточает немущим.

Не зная, на кого свалить свою неудачу, он приписывает ее своей собственной вине: ибо кто смеет обвинить в капризах предмет его обожания? Унижение самолюбия усиливает скорби отвергнутой любви. Он подходит к Софи уже не с прежней милой доверчивостью сердца, которое чувствует себя достойным ее любви; он становится робким и трепещущим перед ней. Он уже не надеется тронуть ее нежностью, он старается склонить ее жалостью. Иной раз терпение его утомляется и готово перейти в досаду. Софи как бы предчувствует эти вспышки — и взглядывает на него. Один этот взгляд обезоруживает его, пугает; и вот он уже покорнее прежнего.

Смущенный этим упорным сопротивлением и этим непобедимым молчанием, он изливает свое сердце перед своим другом. Он поверяет ему горести этого сердца, сокрушенного тоскою, выпрашивает помощи и советов. «Какая непроницаемая тайна!.. Она заинтересована моею участью — я не могу в этом сомневаться; она не избегает меня, ей даже приятно быть со мною; когда я прихожу, она изъявляет радость, когда уезжаю, — сожаление; она благосклонно принимает мое ухаживанье; услуги мои, по-видимому, нравятся ей; она удостаивает меня советами, иной раз дает даже приказания. И однако ж она отвергает мои просьбы, мои моления. Когда я осмеливаюсь завести речь о женитьбе, она повелительно требует, чтобы я замолчал, и, если я прибавлю хоть слово, она тотчас же уходит от меня. Что за странная причина! Почему, желая, чтобы я принадлежал ей, она не хочет и слышать о том, чтобы быть моею? Вас она уважает, вас любит, вас не посмеет заставить замолчать; поговорите же с ней, заставьте ее говорить; услужите вашему другу, увенчайте свое дело; не делайте ваших попечений гибельными для вашего воспитанника. Увы! То, что он получил от вас, составит несчастье его жизни, если вы не завершите его счастья».

Я говорю с Софи и без особенного труда вырываю у нее тайну,

которую знал еще прежде, чем она высказалась. Труднее мне было добиться позволения сообщить это Эмилю: наконец, я добиваюсь и пользуюсь им. Это объяснение повергает его в изумление, от которого он никак не может прийти в себя. Для него совершенно непонятна эта деликатность; он не может представить себе, чтобы характер и достоинства зависели от большего или меньшего количества ливров. Когда я даю ему понять, насколько это важно с точки зрения предубеждений, он разражается смехом и в порыве радости хочет сейчас же ехать, все изорвать, все выбросить, от всего отказаться, чтобы иметь честь быть столь же бедным, как и Софи, и возвратиться достойным ее руки.

«Куда, куда? — говорю я, останавливая его и смеясь, в свою очередь, над его стремительностью, — да когда же созреет этот юный ум? Профилософствовав всю жизнь, научишься ли ты наконец рассуждать? Как ты не видишь, что исполнением своего неразумного намерения ты только ухудшишь свое положение и сделаешь Софи еще более несговорчивой? Не большое преимущество — иметь несколько больше земных благ, чем она, но оно превратится в очень большое, если все эти блага пожертвовать ей; и если гордость ее не может принять первое твое одолжение, то как она решится принять второе? Если ей невыносима мысль, что муж может попрекать ее тем, что обогатил ее, допустит ли она, чтоб он мог попрекать ее тем, что обеднел из-за нее? Несчастный! страшись, чтоб она не заподозрила в тебе этого намерения. Стань, наоборот, экономным и бережливым ради любви к ней, из опасения, чтобы она не обвинила тебя в желании склонить ее с помощью ловкости и в добровольном пожертвовании того, что ты потерял бы по небрежности.

Неужели ты думаешь, что ей внушает страх самое обилие благ и что ее сопротивление обуславливается именно богатством? Нет, дорогой Эмиль, причина его, более основательная и важная, заключается в том действии, какое производят богатства на душу обладателя. Она знает, что блага счастья предпочитаются всему теми, у кого они есть. Все богачи ставят золото выше заслуг. При взаимном предложении денег и услуг они всегда находят, что первые никогда не покрываются последними, и думают, что перед ними остаются в долгу те, кто всю жизнь провел в служении им и ел их хлеб. Итак, что же нужно делать тебе, Эмиль, чтобы успокоить ее страхи? Дай ей хорошо ознакомиться с тобою — этого не сделаешь в один день. Укажи ей среди сокровищ твоей благородной души, чем можно искупить те, которыми ты имеешь несчастье обладать. Пересиль ее сопротивление с помощью твердости и времени; путем высоких и благородных чувствований заставь ее забыть твои богатства. Люби ее, служи ей, служи

ее почтенным родителям. Докажи ей, что заботы эти не есть последствие безумной и преходящей страсти, но вытекают из неизгладимых принципов, запечатленных в глубине твоего сердца. Отдавай должную честь достоинству, обиженному судьбой: это единственное средство примирить его с тем достоинством, которому судьба благоприятствовала».

Легко понять, как не радостные восторги возбуждает эта речь в молодом человеке, сколько уверенности и надежды она придает ему, как радуется его честное сердце, что ему предстоит, с целью угодить Софи, делать как раз то, что он делал бы и сам по себе, если бы даже Софи не существовало или если бы он не был в нее влюблен. Кто хоть чуть понял его характер, тому легко представить поведение его в этом случае.

Итак, я оказался поверенным обоих моих друзей и посредником в их любви! Не прекрасное ли это звание для воспитателя? Оно до того прекрасно, что я во всю жизнь ничего не сделал такого, что меня настолько же возвысило бы в моих собственных глазах и сделало бы столь довольным самым собою. Впрочем, это звание имеет и свои собственные прелести: я недурно принят в доме; мне доверяют надзор за тем, чтобы влюбленные держались на должном пути. Эмиль, трепещущий от мысли, что не угодит мне, никогда не был столь послушным. Маленькая плутовка осыпает меня знаками дружбы, которые, однако, меня не обманывают и из которых я принимаю на свой счет лишь то, что мне приходится. Таким образом она косвенно вознаграждает меня за то почтительное расстояние, в котором она держит Эмиля. В моем лице она оказывает ему тысячу нежных ласк, которых ни за что на свете не согласилась бы оказать ему самому; а он, зная, что я не хочу вредить его интересам, очарован моим добрым согласием с нею. Он утешается, когда на прогулке она отказывается опереться на его руку, если только она предпочла мою. Он безропотно отходит, пожимая мне руку, тихо говоря и голосом, и взглядом: «друг, поговорите за меня». Он с интересом следит за нами взглядом своим: старается прочесть наши чувства на лицах наших и по жестам отгадать смысл речей наших; он знает, что все, что говорится между нами, касается его. Добрая Софи! как радуется твое искреннее сердце, когда, не имея возможности говорить с Телемаком, ты можешь беседовать с его Ментором! С какою милою откровенностью ты позволяешь ему читать в этом нежном сердце все, что там происходит! С каким удовольствием выказываешь ты перед ним все свое уважение к его воспитаннику! С каким трогательным простодушием ты позволяешь ему проникать в чувства более нежные! С каким притворным гневом ты отсылаешь докучливого человека, когда нетерпение заставляет

его прерывать твою беседу! С какой восхитительною осадой ты упрекаешь его за нескромность, когда он придет и помешает тебе расхваливать его, слушать о нем и постоянно извлекать из моих ответов все новые и новые основания любить его!

Добившись таким образом того, что его стали терпеть как формально влюбленного, Эмиль пользуется всеми его правами; он говорит, убеждает, пристаёт, надоедает. Пусть отвечают ему жестко, пусть дурно с ним обходятся — беда невелика, лишь бы его выслушивали. Наконец, хотя не без труда, он добивается того, что и Софи, с своей стороны, соблаговолила открыто принять на себя власть любимой женщины, стала предписывать ему, что он должен делать, командовать им вместо того, чтобы просить, благосклонно принимать вместо того, чтобы благодарить, устанавливать число и время посещений, запрещать ему до такого-то дня приходить или по истечении такого-то часа оставаться. Все это делается не шутя, но очень серьезно; и если она с трудом согласилась принять эти права, зато она пользуется ими с такою суровостью, которая доводит часто бедного Эмиля до сожаления о том, что он дал их. Но что бы она ни приказывала, он не возражает; и часто, уезжая из послушания, он смотрит на меня взорами, полными радости, которые говорят мне: «Вы видите, как она завладела мною». Между тем гордая девушка исподтишка наблюдает за ним и втайне подсмеивается над гордостью своего раба.

Альбани ³⁷ и Рафаэль, дайте мне на время свою страстную кисть! Божественный Мильтон ³⁸, научи меня описывать моим грубым пером удовольствия любви и невинности! Но нет, — спрячьте ваши лживые искусства перед здоровою истинной природы. Пусть лишь будут у вас чувствительные сердца, честные души; а затем предоставьте вашему воображению блуждать без стеснения среди восторгов двух юных влюбленных, которые, на глазах родителей и руководителей, без смущения предаются сладкой иллюзии, ласкающей их, и, опьяненные вожделениями, подвигаясь мало-помалу к пределу, переплетают цветами и гирляндами те счастливые узы, которые должны соединять их до могилы. Такая масса очаровательных образов опьяняет меня самого; я собираю их без порядка и последовательности; волнению, ими причиняемое, мешает мне их связывать. О! кто, имея сердце, не сумеет создать в самом себе восхитительной картины различных положений отца, матери, дочери, воспитателя, воспитанника и обоюдного стремления тех и других соединить прелестнейшую парочку, любовь и добродетель которой способна создать для нее счастье?

Теперь-то, почувствовав истинную потребность правиться, Эмиль

начинает сознавать цену приятных талантов, которые он в себе выработал. Софи любит петь, он поет вместе с нею; даже больше того — он ее учит музыке. Она жива и проворна, любит прыгать — он танцует с нею, превращает ее прыжки в па, совершенствует ее. Уроки эти очаровательны, их оживляет резвое веселье; они придают сладость робкой почтительности любви: влюбленному позволительно быть руководителем своей повелительницы.

В доме есть старинные, совершенно расстроенные клавикорды, Эмиль исправляет их и настраивает: он и инструментальный мастер, и настройщик, и столяр; для него всегда было правилом — уметь обходиться без помощи другого во всем, что он мог бы сделать сам. Дом отличается живописным расположением: он снимает различные виды, в чем ему помогает иной раз и Софи, которая украшает ими кабинет отца. Рамки у них не вызолочены, да в этом нет и надобности. Видя, как Эмиль рисует, подражая ему, она по его примеру совершенствуется; она развивает все свои таланты, а прелесть ее служит для всех них украшением. Отцу и матери вспоминается их прежняя роскошь при виде того, как расцветают вокруг них искусства, которые одни только и придавали в их глазах этой роскоши цену; любовь разукрасила весь их дом; она одна, без издержек и труда, водворяет в нем те самые удовольствия, которые некогда доставались им лишь с помощью денег и забот.

Как идолопоклонник обогащает ценными для него сокровищами предмет своего поклонения и разукрашивает на алтаре бога, которому поклоняется, точно так и влюбленный, хотя и видит в своей возлюбленной совершенство, все-таки стремится беспрестанно наделять ее новыми и новыми украшениями. Ей не нужны они для того, чтобы нравиться ему; но у него уже такая потребность — украшать ее: это новый род поклонения, которое он воздает ей; это новый интерес, которым он усиливает удовольствие созерцать ее. Ему кажется, что все прекрасное не на своем месте, если оно не украшает величайшей красоты. Трогательно и вместе с тем смешно видеть, как Эмиль спешит обучить Софи всему, что сам знает, не справляясь, по вкусу ли ей и пригодно ли ей то, чему он хочет ее научить. Он говорит ей обо всем, объясняет все с чисто ребяческим увлечением; он уверен, что стоит ему сказать — и она сейчас же поймет; он заранее представляет себе, с каким удовольствием он будет рассуждать, философствовать с нею; он считает бесполезным всякое приобретение, которое он может выставить ей напоказ; ему чуть не стыдно знать что-нибудь такое, чего она не знает.

И вот он дает ей уроки философии, физики, математики, истории, — словом, всего. Софи с удовольствием подчиняется его рвению

и старается извлечь из него пользу. Как доволен Эмиль, когда может добиться того, чтобы давать уроки — на коленях перед нею! Ему чудится, что он видит отверстое небо. Меж тем, это положение, стеснительное более для ученицы, чем для учителя, не очень-то благоприятствует обучению. Тут не знаешь, куда деть свои глаза, как избежать преследующего их взора; а когда взоры встречаются, урок идет не лучше прежнего.

Искусство мыслить не чуждо женщинам, но им приходится лишь слегка касаться наук, требующих размышления. Софи постигает все, но удерживает немного. Наибольшие успехи она делает в морали и в вещах, касающихся вкуса; из физики она воспринимает лишь некоторое представление о всеобщих законах и о системе мира. Часто, среди прогулок, при созерцании чудес природы, сердца их, невинные и чистые, дерзают вознестись к ее Творцу; они не боятся его присутствия, они совокупно изливаются перед ним.

Как, двое влюбленных в цвете лет при свидании наедине — и толкуют о религии? Проводят время в изложении своих верований? К чему так уничижать возвышенное? Да, в этом нет сомнения: они толкуют об этом среди очарования, в котором находятся; они видят себя совершенными, они полны любви и с энтузиазмом беседуют о том, что придает всю цену добродетели. Жертвы, приносимые ей, только еще больше возвышают эту цену. Среди восторгов, с которыми приходится бороться, они вместе проливают подчас слезы, которые чище небесной росы, и эти сладкие слезы составляют очаровательную прелесть их жизни: они в самом восхитительном упоении, какое только испытывали человеческие души. Самые лишения усиливают их счастье, и жертвы возвышают их в собственных глазах. Чувственные люди, тела без души! они узнают когда-нибудь и ваши удовольствия и всю жизнь свою будут жалеть о той счастливой поре, когда отказывали себе в них!

Несмотря на это доброе согласие, у них не обходится иной раз без раздоров, даже ссор: возлюбленная — не без капризов, возлюбленный — вспыльчив; но эти маленькие бури проходят быстро и только упрочивают союз; самая опытность учит Эмиля не очень-то их пугаться; размолвки ему не так вредны, как выгодны примирения. Результат первой из них заставил его ожидать того же и от других: он как бы закалился; да, наконец, если он не всегда получает от них такую осязательную выгоду, он все-таки выигрывает тем, что видит подтверждение со стороны Софи того искреннего участия, которое она принимает в его сердечной жизни. Хотите знать, какова же эта выгода? Я тем охотнее расскажу об этом, что пример

этот даст мне возможность изложить одно весьма полезное правило и опровергнуть другое, весьма гибельное.

Эмиль любит; значит, он не дерзок; еще очевиднее то обстоятельство, что властная Софи не такая девушка, которая стала бы спускать ему вольности. Так как благоразумие имеет свои пределы во всякой вещи, то ее скорее можно было бы обвинять в излишней суровости, чем в излишней снисходительности; и сам отец ее боится иной раз, как бы чрезмерная гордость не перешла в высокомерие. Во время самых уединенных свиданий Эмиль не смеет выпросить ни малейшей ласки, не смеет даже показать, что ему хочется этого; а когда она соблаговолит во время прогулки опереться на его руку — милость эту она не позволяет превращать в право, — он едва осмеливается порою прижать со вздохом эту руку к своей груди. Однако же после продолжительных усилий над собою он отваживается, наконец, поцеловать украдкой ее платье; и несколько раз был настолько счастлив, что она не соблаговолила даже замечать это. Но раз, когда он хотел несколько более открыто проделать эту вольность, она вздумала найти этот поступок очень дурным. Он упорствует, она раздражается; досада вырывает у нее несколько обидных слов; Эмиль не остается без ответа: остальная часть дня проходит в размолвке, и они расстаются весьма недовольными.

Софи не по себе. Мать — ее поверенная; как скрывать от нее свое горе? Это у ней первая размолвка; а размолвка на целый час — такое важное дело! Она раскаивается в своей вине: мать позволяет ей загладить ее, а отец даже приказывает.

На другой день Эмиль, встревоженный, приезжает раньше обыкновенного. Софи занята туалетом матери, отец в той же комнате; Эмиль входит почтительно, но с грустным видом. Едва отец и мать поздоровались с ним, как Софи оборачивается и, подавая ему руку, спрашивает ласковым тоном, как его здоровье. Ясно, что эта хорошенькая ручка для того только и протягивается таким образом, чтобы ее поцеловали: он берет ее и не целует. Софи, несколько пристыженная, принимает ее назад с такою любезностью, какую только может сохранить! Эмиль, не привыкший к женским манерам и не знающий, на что пригодны капризы, нелегко забывает их и не так скоро успокаивается. Отец Софи, видя ее замешательство, окончательно расстраивает ее своими насмешками. Бедная девушка, сконфуженная, униженная, не знает, что ей делать, и отдала бы все в мире, лишь бы иметь смелость расплакаться. Чем более она делает усилий, тем более сжимается ее сердце; наконец, слеза скатывается помимо ее воли. Эмиль видит ее слезу, бросается на колени, берет ее руку и несколько раз целует с увлечением. «Ну, право, вы

слишком добры, — говорит отец, разражаясь смехом, — я меньше проявил бы снисходительности ко всем этим шальным девчонкам и наказал бы уста, меня обидевшие». Эмиль, ободренный этими словами, обращает умоляющий взор в сторону матери и, подметив знак согласия, наклоняется с трепетом к лицу Софи, которая отворачивает голову и, желая спасти уста, подставляет розовую щечку. Нескромный юноша этим не довольствуется; сопротивление ему оказывают не очень большое. И какой поцелуй! Если бы он не был получен на глазах матери. Берегись, строгая девушка! Теперь часто будут просить у тебя — поцеловать платье, с условием, чтобы ты подчас и отказывала в этом.

После этого примерного наказания отец уходит по какому-то делу; мать высылает Софи под каким-то предлогом; затем обращается к Эмилю и говорит ему серьезным тоном: «Милостивый государь! я думаю, что молодой человек, с такими прекрасными задатками, так хорошо воспитанный, как вы, не захочет отплатить бесчестьем семьи за дружбу, которую последняя ему оказывает. Я не сурова и не мнительна; я знаю, что следует извинить резвой юности; это достаточно доказывается тем, что я допустила сейчас на своих же глазах. Посоветуйтесь с своим другом о ваших обязанностях — он вам скажет, какая разница между шутками, на которые дает право присутствие отца и матери, и вольностями, которые позволяют себе в их отсутствие, злоупотребляя их доверием и превращая в опасные сети те самые ласки, которые на их глазах бывают невинными. Он скажет вам, сударь, что дочь моя только тем и виновата была по отношению к вам, что не заметила с первого раза того, чего никогда не должна была допускать; он скажет вам, что лаской бывает лишь то, что принимают за ласку, и что недостойно честного человека злоупотреблять простодушием молодой девушки с целью тайком похитить те самые вольности, которые она может допустить и при всех. Ведь, что публично допускается приличием, это всякому известно; но неизвестно, на чем остановится, под покровом тайны, тот, кто себя одного делает судьей своих прихотей».

После этого заслуженного выговора, обращенного скорее ко мне, чем к моему воспитаннику, благоразумная мать уходит и оставляет меня в изумлении перед столь редкою предусмотрительностью: что дочь у ней на глазах целуют в уста, на это она мало обращает внимания, и приходит в ужас, если кто осмеливается где-нибудь на стороне поцеловать у ее дочери платье. Размышляя о нелепости наших правил, которые истинную порядочность всегда приносят в жертву приличию, я понимаю, почему, чем испорченнее

сердца, тем целомудреннее бывают речи, и почему тем строже бывают поступки, чем бесчестнее тот, кто поступает так.

Внушая Эмилю по этому поводу сознание обязанностей, которые уже давно следовало бы втолковать ему, я нападаю на мысль, которая делает, быть может, большую честь Софи и которую я тем не менее никак не решаюсь сообщить своему влюбленному: ясно, что эта мнимая гордость, за которую упрекают ее, есть не более как весьма разумная предосторожность с целью оградиться от самой себя. Сознавая, к своему несчастью, всю пылкость своего темперамента, она страшится даже первой искры и из всех сил старается уберечься от нее. Не из гордости она строга, а из уничижения. Она берет власть над Эмилем из опасения, что не имеет ее над Софи; она пользуется одним, чтобы бороться с другою. Будь она увереннее, она была бы далеко не так горда. Исключите этот пункт — и какая в мире девушка окажется более кроткой и сговорчивой, кто терпеливее ее переносит обиду, кто больше ее боится обидеть другого, у кого меньше притязаний всякого рода, кроме притязаний на добродетель? Притом же горда она не своею добродетелью, а лишь для того, чтобы сохранить эту последнюю; когда же она может без риска отдаваться склонности своего сердца, она даже ласкается к своему возлюбленному. Но осторожная мать даже отцу не рассказывает о всех этих подробностях: мужчины не должны все знать.

Софи не только не возгордилась от этой победы, но даже стала еще более приветливой и менее требовательной по отношению ко всем, кроме, быть может, того, кто вызвал эту перемену. Чувство независимости уже не надувает гордостью ее благородного сердца. Она скромно торжествует победу, стоившую ей свободы. Обращение у нее уже не так свободно и речь застенчивее с тех пор, как она не может слышать слово «влюбленный» не краснея; но самодовольство все-таки проглядывает сквозь ее замешательство, и самая стыдливость эта не есть чувство тяжелое. Разница в ее поведении особенно заметна по отношению к юным посетителям дома. С тех пор как она не боится уже их, крайняя сдержанность ее по отношению к ним значительно ослабела. Сделав выбор, она уже не совестится обнаружить свою любезность перед посторонними; став менее разборчивой по отношению к их достоинствам, в которых она уже не заинтересована, она всегда находит их довольно милыми — как людей, которые не будут иметь к ней никакого отношения.

Если б истинная любовь способна была пускать в дело кокетство, я даже подумал бы, что вижу некоторые следы его в том, как Софи ведет себя с ними в присутствии своего возлюбленного. Можно было бы думать, что, не довольствуясь пылкою страстью, которую

она разжигает в нем изысканною смесью ласк и сдержанности, она, кроме того, не прочь раздражать эту страсть некоторою долей беспокойства; можно было бы думать, что, нарочно забавляя своих юных гостей, она с единственной целью помучить Эмиля обнаруживает всю эту прелесть игривости, которую не смеет проявить по отношению к нему самому; но Софи настолько внимательна, настолько добра и рассудительна, что не станет и в самом деле мучить его. Воздерживаться от этого опасного стимула заставляют ее любовь и честность, восполняющая роль благоразумия; она умеет его встревожить и успокоить тогда именно, когда ей нужно; и если иной раз и причиняет ему тревогу, зато никогда не доводит до уныния. Простим же ей хлопоты, причиняемые ею любимому существу — из опасения, что он недостаточно еще связан с нею.

Но какое действие производит эта маленькая уловка на Эмиля? Станет он ревновать или не станет? Вот вопрос, который нужно обсудить; ибо подобные отступления тоже подходят к предмету моей книги и не слишком удаляют меня от сюжета.

Выше я показал, как в том кругу вещей, который зависит лишь от людского мнения, страсть эта проникает в сердце человека. Но в сфере любви другое дело: ревность кажется здесь столь близкою к природе, что трудно думать, чтоб она не вела начала от природы; и даже пример животных, из которых многие ревнивы до бешенства, по-видимому, неоспоримо устанавливает существование и противоположного любви чувствования. Разве людское мнение научает петухов разрывать друг друга в клочья и быков биться насмерть?

Отвращение ко всему, что смущает и противодействует нашим наслаждениям, есть движение вполне естественное, — это неоспоримо. До известной степени то же можно сказать и о стремлении к исключительному обладанию тем, что нравится нам. Но когда это желание, став страстью, превращается в ярость или в подозрительную и угрюмую прихоть, тогда другое дело; эта страсть и может быть естественной, и может не быть: нужно разобраться.

Пример, взятый из мира животных, рассмотрен мною раньше, в «Рассуждении о неравенстве»; и теперь, когда я размышляю об этом снова, это исследование кажется мне настолько основательным, что я беру смелость отослать к нему читателей. К различиям, установленным мною в этом сочинении, я добавлю только то, что ревность, происходящая от природы, много зависит от половой способности и что когда эта способность бывает или кажется ограничею, то ревность эта достигает своего крайнего предела; ибо тогда самец, измеряя свои права по своим потребностям, не может смотреть на другого самца иначе как на докучливого соперника. У тех

же самых пород самки, покоряющиеся всегда первому пришлому, достаются самцам лишь по праву победы и порождают между этими последними вечные битвы.

Напротив, у пород, где соединяются с одною, где совокупление порождает нечто вроде нравственной связи — род брака, самка, принадлежа по выбору самцу, которому отдалась, отказывает обыкновенно всякому другому, и самец, для которого эта предпочтительная привязанность служит ручательством за верность самки, менее тревожится при виде других самцов и мирнее с ними живет. У этих пород самец разделяет заботы о детенышах, и самка — это один из законов природы, которые нельзя созерцать без умиления, — привязанностью к отцу как бы отплачивает за привязанность этого последнего к своим детям.

А рассматривая род человеческий в его первобытной простоте, мы легко замечаем, что, в силу ограниченной способности самца и умеренности его вожделений, ему предназначено природой довольствоваться одною всего самкою; это подтверждается численным равенством особей того и другого пола — по крайней мере в наших климатах, — равенством, которого далеко не существует у тех пород, где наибольшая сила самцов собирает по нескольку самок вокруг одного самца. И хотя мужчина не сидит, как голубь, на яйцах, хотя, не имея и сосцов, чтобы кормить детей, он в этом отношении подходит к классу четвероногих, все-таки, раз дети остаются так долго ползающими и слабыми, им и матери трудно было бы обойтись без привязанности отца и забот его, являющихся результатом этой привязанности.

Все наблюдения говорят, значит, за то, что из ревнивой ярости самцов у некоторых пород животных вовсе нельзя выводить заключений для человека; а если южные страны, где утвердилась полигамия, составляют исключение, то этим лишь сильнее подтверждается правило, так как тираническая предосторожность мужей обусловлена многочисленностью жен, а чувство собственной слабости побуждает мужчину прибегать к насилию с целью обойти законы природы.

У нас, где эти самые законы в этом смысле меньше нарушаются, но зато нарушаются в смысле противоположном и более отвратительном, ревность имеет исходное начало скорее в общественных страстях, чем в первобытном инстинкте. В большинстве любовных связей любовник гораздо более ненавидит своих соперников, чем любит свою возлюбленную; он боится, что выслушивают не его одного, — это и есть результат того самолюбия, происхождение которого я указал; тщеславие страдает в нем гораздо более, чем чувство любви.

Притом же наши нелепые учреждения сделали женщин такими притворщицами *, так разожгли их аппетиты, что трудно рассчитывать даже на самую испытанную привязанность их и выказываемое ими предпочтение никогда уже не обеспечивает от опасности наткнуться на соперников.

В сфере истинной любви — другое дело. Я показал, в упомянутом уже сочинении, что это чувство не так естественно, как думают; большая разница между сладкой привычкой, привязывающей мужчину к его подруге, и той необузданною пылкостью, когда он упивается воображаемой очаровательностью предмета, который он видит уже не таким, каков он в действительности. Эта страсть, жаждущая исключительности и предпочтений, отличается от тщеславия лишь тем, что тщеславие, требующее всего и не дающее ничего взамен, всегда несправедливо, тогда как любовь, дающая столько, сколько требует, сама по себе есть чувство, исполненное справедливости. Притом же она, чем требовательнее тем легковвернее: та же иллюзия, которая производит ее, делает ее и легко поддающейся убеждению. Если любовь причиняет тревоги, зато уважение доверчиво; а в честном сердце никогда не существовало любви без уважения, потому что каждый любит в любимом предмете лишь те качества, которыми дорожит.

Хорошо выяснив все это, можно с достоверностью сказать, на какого рода ревность Эмиль будет способен: так как эта страсть едва ли имеет зародыш в человеческом сердце, то, значит, форма ее определяется единственно воспитанием. Влюбленный и ревнивый Эмиль будет не гневным, подозрительным, недоверчивым, но деликатным, чувствительным и робким; он будет скорее встревоженным, чем раздраженным; скорее будет стараться снова привлечь свою возлюбленную, а не угрожать своему сопернику; он устранит его, если сможет, как препятствие, но не станет ненавидеть, как врага; если он будет его ненавидеть, то не за то, что он дерзнул оснаживать у него сердце, на которое он сам претендует, а за то, что он подвергает его действительной опасности потерять это сердце; он не будет глупо обижаться, в несправедливой своей гордости, на то, что осмеливаются вступать с ним в конкуренцию; понимая, что право предпочтения основано единственно на достоинствах и что честь заключается в успехе, он удвоит старания, чтобы стать милым, и,

* Подразумеваемый здесь мною род притворства противоположен тому, который приличен им и которым наделила их природа: в одном случае они скрывают те чувства, которые у них есть, в другом — выдумывают такие, которых не имеют. Все светские женщины всю жизнь свою тщеславятся своею мнимою чувствительностью — и никогда ничего не любят, кроме самих себя.

вероятно, будет иметь успех. Великодушная Софи, раздражив его любовь некоторыми тревогами, сумеет успокоить их, вознаградить за них, и соперники, которые терпелись лишь с целью испытать его, скоро будут устранены.

Но куда я незаметно забрался? Эмиль, что стало с тобою? Могу ли я признать в тебе своего воспитанника? Как низко ты упал! Где тот молодой человек, столь сурово воспитанный, презиравший все невзгоды климата, обрекавший тело на самые грубые работы и подчинявший душу свою одним законам мудрости, — человек, недоступный предрассудкам, страстям, любивший только истину, уступавший только разуму, не зависевший ни от чего, стоящего вне его? Теперь, изнежившись в праздной жизни, он позволяет руководить собою женщинам; их забавы стали его занятием, их воля — его законом; молодая девушка решает его участь; он перед ней ползает и сгибается; серьезный Эмиль стал игрушкой ребенка!

Такова смена сцен в жизни; у каждого возраста есть свои пружины, приводящие его в действие, но человек всегда один и тот же. В десять лет им управляли пирожки, в двадцать — управляет возлюбленная, в тридцать — удовольствия, в сорок — честолюбие, в пятьдесят — скупость; когда же ему гнаться за одною мудростью? Счастлив, кого ведут к ней помимо воли! Что за дело до того, каков руководитель, — лишь бы он вел к цели! Герои, сами мудрецы платили эту дань человеческой слабости; и тот, в пальцах которого ломались веретена, не перестал вследствие этого быть великим человеком ³⁹.

Если хотите распространить на целую жизнь действие удачного воспитания, не покидайте и в пору юности добрых привычек детства; и если ваш воспитанник стал тем, чем должен быть, постарайтесь, чтоб он был одним и тем же во все времена. Вот та окончательная отделка, которую вы должны дать своей работе. Вот для чего особенно важно оставлять при молодых людях воспитателя; если бы не это, то нечего бояться, что они не сумеют полюбить без него. Наставников и особенно отцов обманывает мысль, что одним образом жизни исключается другой, что лишь только вырастешь, сейчас же нужно отказаться от всего, что делал, будучи малолетним. Если б это было так, то к чему же служили бы все попечения о детстве, коль скоро хорошие или дурные привычки этого возраста исчезают вместе с ним, коль скоро вступление в новый образ жизни необходимо влечет за собою и новый образ мыслей?

Как перерыв в памяти производят лишь тяжкие болезни, так и перерыв в нравах производится только сильными страстями. Хотя наши вкусы и склонности меняются, но перемена эта, иной раз

довольно резкая, смягчается привычками. При взаимном чередовании наклоностей, как при искусном оттенении цветов, ловкий художник должен сделать переходы нечувствительными, должен перемешивать и соединять краски и, чтобы ни одна не бросалась резко в глаза, положить некоторые по всему полю. Правило это подтверждается опытом; люди невоздержанные ежедневно меняют привязанности, вкусы, чувства, и вместо всякого постоянства у них оказывается привычка к переменам; но человек урегулированный всегда возвращается к своим прежним обычаям и не теряет даже в старости охоту к удовольствиям, которые любил ребенком.

Если вы постараетесь, чтобы, переходя в новый возраст, молодые люди не относились презрительно к тому, который предшествовал, чтобы, перенимая новые привычки, они не покидали прежних и что хорошо, то любили бы делать всегда, невзирая на то, в какое время начали, — только тогда вы обеспечите свое дело и будете спокойны на их счет до конца их дней; ибо самый опасный переворот падает на тот возраст, который теперь под вашим наблюдением. Так как этого возраста всегда жаль, то и впоследствии с трудом расстаешься со вкусами, сохранившимися от этой поры, тогда как в случае резкого перерыва к ним не возвратишься уже во всю жизнь.

Большинство привычек, которые вы думаете привить детям и молодым людям, не бывают истинными привычками, потому что те усваивают их лишь насильно и, следуя им помимо воли, ждут лишь случая избавиться от них. Нельзя полюбить тюрьму вследствие долговременного в ней пребывания: привычка здесь, вместо того чтобы уменьшать отвращение, увеличивает его. Не таково положение Эмиля, который в детстве все делал не иначе как добровольно и с удовольствием и, став взрослым, продолжает поступать так же; для него власть привычки — новое прибавление к прелестям свободы. Деятельная жизнь, ручная работа, упражнение, движение сделались ему столь необходимыми, что он не мог бы отказаться от этого без страдания. Сразу принудить его к вялой и сидячей жизни значило бы заточить его, заковать, держать в насильственном состоянии принуждения; я уверен, что характер его и здоровье одинаково пострадали бы от этого. Он едва может свободно дышать в закупоренной комнате; ему нужны свежий воздух, движение, усталость. Даже у ног Софи он не может удержаться, чтобы не заглянуть иной раз одним глазком в поле, — ему так и хочется пробежаться по нему вместе с нею. Он остается, однако, если нужно оставаться; но он беспокоен, взволнован, он как бы силится вырваться: остается он потому, что в оковах. «Итак, вот каким потребностям, — скажете

вы, — он подчинил его; вот зависимость, в которую он поставил его». И все это правда: я подчинил его званию человека.

Эмиль любит Софи; но какие прелести прежде всего привязали его? Способность чувствовать, добродетель, любовь ко всему честному. Любя эту любовь в своей возлюбленной, разве сам он потерял все это? Ради чего, в свою очередь, сдалась Софи? Ради всех чувств, которые свойственны сердцу ее возлюбленного, ради уважения к истинным благам, умеренности, простоты, великодушного бескорыстия, презрения к роскоши и богатствам. Эмиль имел эти добродетели раньше, чем любовь сделала их обязательными для него. В чем же Эмиль действительно изменился? У него теперь новые основания — быть самим собою: вот единственный пункт, в котором он отличается от того, чем был.

Я не могу себе представить, чтобы, читая эту книгу с некоторым вниманием, кто-либо мог подумать, что вся обстановка настоящего положения Эмиля сложилась вокруг него случайно. Разве это случайность, что, в то время как в городах столько милых девушек, возлюбленную его приходится отыскивать лишь в глуши отдаленного убежища? Разве случайно сошлись они? Разве случайно им нельзя жить в одной местности? Разве случайно убежище его оказывается в такой дали от нее? Разве случайно он так редко видит ее и принужден удовольствие изредка видеть ее покупать ценою такой усталости? «Он изнеживается», — говорите вы. Напротив, он закаляется; чтобы устоять против утомления, которому подвергает его Софи, нужно быть именно таким сильным человеком, каким я его сделал.

Он живет за две добрых мили от нее. Это расстояние — те же кузнечные мехи; им-то я закаляю стрелы любви. Если б они жили бок о бок или если б он мог приезжать на свиданья, сидя на мягких подушках в хорошей карете, он любил бы ее — в свое собственное удовольствие, любил бы по-парижски. Неужели Леандр захотел бы умереть за Геро ⁴⁰, если бы море не разделяло их? Читатель, уволь меня от лишних слов; если ты способен понять меня, то легко проследишь мои правила в подробностях, которые привожу я.

В первые разы, когда мы отправлялись к Софи, мы брали лошадей, чтобы поскорее быть на месте. Мы находим это средство удобным и в пятый уже раз берем лошадей. Нас ждали. В полумили почти от дома мы замечаем на дороге общество. Эмиль всматривается, сердце у него бьется; подъезжаем ближе, он узнает Софи, бросается долой с коня, спешит, летит, — и вот уже в кругу любезного семейства. Эмиль любит хороших лошадей; его лошадь резва — она чувствует себя свободно, вырывается и летит через поле; я гонюсь

за ней, с трудом настигаю и привожу ее назад. Софи, к несчастью, боится лошадей, и я не осмеливаюсь приблизиться к ней. Эмиль ничего не видит; но Софи сообщает ему на ухо, какой он труд взвалил на своего друга. Эмиль прибегает перекофузившись, берет лошадей и остается сзади: каждому, как и подобает, свой черед... Он уезжает первым, чтобы развязаться с нашими верховыми лошадьми. Оставляя таким образом Софи позади себя, он уже находит лошадь не особенно удобным средством сообщения. Он возвращается пешком, весь запыхавшись, и встречает нас на половине дороги.

При следующем путешествии Эмиль уже не хочет брать лошадей. «Отчего же? — говорю я, — нам стоит только взять слугу, который и будет смотреть за ними». — «Ах! — возражает он, — к чему нам так обременять почтенное семейство? Вы хорошо видите, что им хочется всех накормить, и людей, и лошадей». — «Правда, — говорю я, — они отличаются благородным гостеприимством бедности. Богачи — скупые при всей своей роскоши — дают помещение только друзьям, но бедняки дают приют и лошадям своих друзей». — «Идем пешком! — говорит он, — неужели вы не решаетесь на это? Ведь вы так охотно разделяете утомительные удовольствия со своим питомцем». — «С величайшей охотой», — отвечаю я в ту же минуту, тем более, что и влюбленный, как мне кажется, не особенно желает производить своей любовью столько шума.

Приближаясь, мы встречаем мать и дочь еще дальше от дома, чем в тот раз. Мы бежим, как стрела. Эмиль весь в поту; дорогая ручка достаивает провести платком по его щекам. Немало переведется в свете лошадей, прежде чем мы решимся пользоваться их услугами.

Однако же довольно жестоко не иметь возможности проводить вечер вместе. Лето проходит, дни начинают убывать. Несмотря на все наши возражения, нам не позволяют возвращаться домой ночью; а когда мы прибываем не с утра, приходится уходить чуть не сейчас же после прибытия. Сожалея и беспокоясь о нас, мать, наконец, приходит к мысли, что хотя почевать нам в доме неприлично, но можно найти помещение в деревне, чтобы иной раз переночевать там. При этих словах Эмиль хлопает в ладоши и трепещет от радости, а Софи, сама того не замечая, чаще целует свою мать в тот день, как та нашла это средство.

Мало-помалу нежная дружба и невинная короткость отношений устанавливаются и упрочиваются между нами. В дни, назначаемые Софи или ее матерью, я являюсь обыкновенно с своим другом; иной раз я отпускаю и его одного. Доверие возвышает душу, а с мужчиной нельзя уже обходиться как с ребенком; да и в чем же выразился бы

мой успех до этой поры, если бы воспитанник мой не заслуживал моего хорошего мнения? Случается и мне отправляться без него; тогда он грустит, но не ропщет — да и к чему служил бы этот ропот? Притом же он хорошо знает, что я не стану вредить его интересам. Идем ли вместе или порознь, нас, разумеется, не останавливает никакая погода, и мы гордимся, если приходим в таком состоянии, что нас можно пожалеть. К несчастью, Софи запрещает нам добиваться этой чести и не велит приходить в дурную погоду. На этот единственный раз она оказывается непокорной правилам, которые я втайне диктую ей.

Раз он отправился один, и я ждал его лишь на следующий день; но он, вижу, приходит в тот же вечер, и я говорю ему, обнимая его: «Как! Дорогой Эмиль, ты возвратился к твоему другу?» Но вместо ответа на мои ласки он возражает с некоторой досадой: «Не думайте, что я по своей воле возвращаюсь так скоро, — я пришел против воли. Это она захотела, чтоб я шел; я пришел из-за нее, а не из-за вас». Тронутый этою наивностью, я снова обнимаю его и говорю: «Откровенная душа, искренний друг! Не прячь от меня того, что мне принадлежит. Если ты пришел из-за нее, то говоришь ты это из-за меня: твое возвращение — это ее дело, но откровенность твоя — это мое дело. Сохраняй навсегда эту благородную искренность прекрасных душ. Посторонним можно предоставить думать, что им угодно; но преступно позволять другу вменять нам в заслугу то, что мы сделали не для него!»

Я ни за что не стал бы уменьшать в его глазах цену этого признания, показывать, что здесь больше любви, чем великодушия, что он не столько хочет отнять у себя заслугу этого возвращения, сколько приписать ее Софи. Но вот чем, сам того не замечая, он открывает мне глубину своего сердца: если б он шел покойно, тихими шагами, погруженный в любовные мечты, то Эмиль, значит, есть возлюбленный Софи, — и только; если же он возвращается большими шагами, разгоряченным и хоть чуть ворчливым, то, значит, Эмиль — друг своего Ментора.

По этим распорядкам видно, что мой молодой человек далеко не проводит всего своего времени с Софи и видится с нею не столько, сколько ему хотелось бы. Ему позволяют всего одно или два путешествия в неделю; и посещения его часто длятся лишь полдня и редко переходят за следующее утро. У него гораздо больше уходит времени на ожидание свиданий или на приятные о них воспоминания, чем на действительные свидания. Даже то время, которое он уделяет на свои путешествия, уходит больше на ходьбу туда и обратно, чем на свидание с нею. Наслаждения его, истинные, чистые,

прелестные, но более воображаемые, чем действительные, разжигают его любовь, но не изнеживают его сердца.

В те дни, когда он не видит ее, он не ведет праздной и сидячей жизни. В эти дни он все тот же Эмиль: он несколько не преобразился. Всего чаще он бежит по окрестным полям, выслеживая их естественную историю; он наблюдает, исследует почвы, их произведения, способ обработки; сравнивает работы, которые видит, с теми, о которых знает; ищет причин этого различия; если считает другие способы более пригодными сравнительно с местным способом, то объясняет их земледельцам; предлагая лучшую форму плуга, он дает для этой цели свои рисунки; находя пласт мергеля, учит их, как употреблять это неизвестное в стране удобрение; часто он и сам берется за работу; поселяне дивятся, видя, как он искуснее обращается с их орудиями, чем они сами, видя, как он глубже и прямее их проводит борозды, ровнее сеет, с большим пониманием проводит гряды. Они не смеются над ним, как над пустым краснобаем по части земледелия; они видят, что он действительно знаком с ним. Словом, свое усердие и заботы он распространяет на все, что касается прямой и общей пользы; он даже этим не ограничивается: посещает дома крестьян, осведомляется об их состоянии, семействе, числе детей, количестве принадлежащей им земли, качестве продукции, о местах сбыта, средствах, повинностях, долгах и т. д. Денег он дает мало, зная, что они оказываются обыкновенно дурно употребленными, но зато он сам следит за употреблением и старается, чтобы оно, помимо их воли, было полезным. Он снабжает их рабочими и часто им самим уплачивает поденщину за те работы, которые для них необходимы. Одному он заставляет поправить или покрыть полуразвалившуюся избу; другому помогает распахать землю, заброшенную за недостатком средств; третьего снабжает коровой, лошадью, всякого рода скотиной взамен той, которой он лишился; два соседа готовы затеять тяжбу — он уговаривает их, мирит; заболел крестьянин — он доставляет ему уход, ухаживает за ним сам *; другого теснит сильный сосед — он оказывает ему покровительство и ходатайствует за него; бедные молодые люди ищут друг друга, — он помогает им устроить брачную жизнь; добрая женщина лишилась

* Ухаживать за больным крестьянином — не значит давать ему слабительное, пичкать лекарствами, посылать за лекарем. При болезни бедняки эти нуждаются вовсе не в этом, а в лучшем и более изобильном питании. Попоститесь-ка сами, когда у вас лихорадка; но когда ею страдают крестьяне, дайте им мяса и вина; почти все их болезни происходят от нищеты и истощения, лучшая микстура для них — в вашем погребе, единственным аптекарем для них должен быть ваш мясник.

своего милого ребенка — он навещает ее, утешает и не очень-то спешит убраться вон: он не пренебрегает бедняками, не торопится покинуть несчастных; он часто обедает у крестьян, которым помогает, обедает и у тех, которые не имеют в нем нужды: делаясь благодетелем одних и другом других, он не перестает быть их ровнею. Словом, он и лично всегда делает столько же добра, сколько своими деньгами.

Иной раз он направляет свои обходы в сторону счастливого убежища; он мог бы заметить Софи невзначай, видеть ее гуляющей, не будучи ею замеченным; но Эмиль всегда чужд лукавства в своем поведении, он не умеет и не хочет ни в чем хитрить. Он обладает тою милою деликатностью, которая ласкает и питает самолюбие добрым мнением о самом себе. Он строго выдерживает изгнание и никогда не подходит настолько близко, что мог бы случайно добиться того, чем хочет быть обязан одной Софи. Зато он с удовольствием бродит по окрестностям, разыскивая следы ног своей возлюбленной, умиляясь трудами, которые она вынесла, и экскурсиям, которые она делала из угождения к нему. Накануне дней, когда он должен видаться с нею, он идет на какую-нибудь соседнюю ферму и заказывает ужин на следующий день. Прогулка как будто невзначай направляется как раз в ту сторону; мы заходим как бы случайно и находим фрукты, пирожки, сливки. Лакомка Софи не остается равнодушной к этой внимательности и охотно пользуется нашею предусмотрительностью, ибо и на мою долю всегда выпадает благодарность, хотя бы я и не принимал никакого участия в том, чем она вызвана: это детская уловка, к которой прибегают, когда стесняются благодарить прямо. Мы с отцом едим пироги и пьем вино; но Эмиль разделяет трапезу с женщинами, подкарауливая как бы украсть тарелку сливок, в которую опускалась ложка Софи.

По поводу пирожков я напоминаю Эмилю о его прежних бегах. Всем хочется знать, что это за бега; я объясняю, поднимается смех; у него спрашивают, умеет ли он и теперь бегать. — «Лучше, чем когда-либо! — отвечает он. — Было бы очень жаль, если б я разучился». Одному из этой компании очень хотелось бы видеть это, но он не осмеливается высказаться; другой берется сделать предложение; предложение принимается: собирают двух-трех молодых людей из окрестностей, назначается приз и, для большего сходства с прежними играми, кладут на конечный пункт пирог. Все наготове; отец дает сигнал, ударяя в ладоши. Проворный Эмиль летит во весь дух и оказывается у конца арены в то время, как мои три пентюха едва еще тронулись с места. Эмиль получает приз из рук Софи и не менее великодушно, чем Эней ¹¹, раздает подарки всем побежденным.

Среди блеска триумфа Софи осмеливается вызвать победителя и хвалится, что бежит не хуже его. Он не отказывается вступить с нею в состязание; и пока она готовится к выступлению на арену, пока подбирает с обеих сторон свое платье и, больше желая выставить на глаза Эмиля свою стройную ножку, чем победить его в этой борьбе, оглядывает, достаточно ли коротка ее юбка, Эмиль что-то шепчет матери; та улыбается и кивает в знак одобрения. Затем он становится рядом со своей соперницей, и едва подали сигнал, как она летит уже, как птица.

Женщины не созданы для бега; если они бегут, то для того, чтобы их нагнали. Бег не единственная вещь, в которой они неловки, но это единственная, в которой они неграциозны: локти, отодвинутые назад и плотно прижатые к телу, придают им смешной вид, а высокие каблуки, на которые они забираются, придают им сходство с кузнецами, если последним захотелось бы бегать вместо скаканья.

Эмиль, не предполагая, что Софи бежит лучше других женщин, не удостоивает тронуться с места и с насмешливой улыбкой смотрит, как она пустилась. Но Софи легка и носит низкие каблуки; она не нуждается в ухищрениях, чтобы показать, что у нее маленькая ножка; она летит вперед с такою быстротой, что если он хочет догнать эту новую Аталанту ⁴², то ему нельзя терять ни минуты. Итак, он, в свою очередь, пускается вперед, подобно орлу, ринувшемуся на свою добычу; он преследует ее, мчится по пятам, наконец, настигает совершенно запыхавшуюся, тихонько охватывает левою рукою, поднимает, как перышко, и, прижимая к сердцу эту милую ношу, заканчивает в таком виде бег; он дает ей первой дотронуться до цели, затем с криком: «Победа за Софи!» преклоняет перед нею колени и признает себя побежденным.

К этим разнообразным занятиям присоединяется и занятие ремеслом, которому мы обучились. Раз, по крайней мере, в неделю и всякий день, когда дурная погода не позволяет нам бродить по полям, мы отправляемся с Эмилем работать у мастера. Работаем мы не для вида, не как люди из высшего звания, но взаправду, как настоящие работники. Отец Софи, придя раз к нам, застаёт нас за работой и с восхищением передает о всем виденном жене и дочери. «Сходите, — говорит он, — посмотрите этого молодого человека в мастерской, и вы увидите, презирает ли он занятия бедняка». Можно представить, с каким удовольствием слушает эти слова Софи! Об этом не раз заводят речь; им хочется застать его за работой! Расспрашивают меня, не подавая виду, с какою это целью; разузнав, когда у нас рабочий день, мать и дочь берут коляску и являются в этот день в город.

Входя в мастерскую, Софи замечает на противоположном конце молодого человека в куртке, с небрежно подвязанными волосами, столь занятого своим делом, что он ничего не видит; она останавливается и делает знак матери. Эмиль, с долотом в одной руке и молотком в другой, заканчивает гнездо; затем он перепиливает доску и кладет конец ее под гребенку для полирования. Зрелище это не возбуждает в Софи смеха: оно трогает ее, оно достойно уважения. Женщина! Чти твоего главу: он работает для тебя, он зарабатывает твой хлеб, он кормит тебя. Вот — мужчина!

В то время как они внимательно наблюдают за ним, я замечаю их, дергаю Эмиля за рукав; он оборачивается, видит их, бросает инструменты и кидается к ним с криком радости. Успокоившись после первых порывов, он усаживает их и снова принимается за работу. Но Софи не может усидеть на месте; она с живостью поднимается, обходит мастерскую, рассматривает инструменты, щупает глянец досок, подбирает с полу стружки, смотрит на наши руки и потом заявляет, что это ремесло ей нравится, так как оно опрятно. Шалунья пробует даже подражать Эмилю. Своею белою и слабою ручкой проводит по доске рубанком; рубанок скользит и не забирает дерева. Мне видится в воздухе Амур, смеющийся и хлопающий крыльями; мне слышится, как выпускает он крики радости и восклицает: «Геркулес отомщен!»⁴³

Мать меж тем расспрашивает мастера. «Сударь, сколько вы платите этим ребятам?» — «Я плачу им, сударыня, по 20 су на день и кормлю их; но если б этот молодой человек захотел, он зарабатывал бы гораздо больше, так как он лучший работник в округе». — «Двадцать су на день и кормите их!» — восклицает мать, посматривая на нас с умилением. «Точно так, сударыня!» — отвечает мастер. При этих словах она подбегает к Эмилю, обнимает его, прижимает к груди, проливая слезы, и, будучи не в силах что-либо сказать, повторяет много раз: «Сын мой, сын мой!»

Проведя некоторое время в беседе с нами, но не отрывая нас от работы, мать, наконец, говорит дочери: «Едем! Становится поздно; нельзя заставлять других ждать нас». Затем, подойдя к Эмилю, она треплет его по щеке и говорит: «Ну, хорошо, прелестный работник! А с нами не хотите вы ехать?» — «Я занят, — отвечает он очень грустным тоном, — спросите у хозяина». Спрашиваю у хозяина, не может ли он обойтись без нас. Он отвечает, что не может. «У меня, — говорит, — спешная работа, и мне послезавтра нужно сдать ее. Рассчитывая на этих господ, я отказал рабочим, приходившим наниматься; если эти уйдут, я не знаю, откуда взять других, и не смогу сдать работу в обещанный срок». Мать не возражает и ждет, что

скажет Эмиль. Эмиль опускает голову и молчит. «Сударь! — говорит она, несколько изумленная этим молчанием. — Что же вы на это скажете?» Эмиль бросает нежный взгляд на дочь ее и отвечает одной фразой: «Вы хорошо видите, что я должен остаться». Затем дамы отправляются и оставляют нас. Эмиль провожает их до двери, следит за ними глазами, насколько можно вздыхает, возвращается и молча принимается за работу.

Дорогою обиженная мать говорит дочери о странности такого поступка. «Как! — восклицает она, — неужели так трудно было удовлетворить хозяина и избавиться от обязательства оставаться? Неужели этот молодой человек, столь расточительный, тратящий деньги без всякой необходимости, не умеет достать их, когда нужно?» — «Нет, мама, — отвечает Софи, — не дай бог, чтоб Эмиль придавал столько значения деньгам, чтобы он пользовался ими для уклонения от личных обязательств, для того чтобы безнаказанно нарушать данное слово и принуждать к этому другого! Я знаю, что ему легко было бы вознаградить мастера за небольшой убыток, причиненный его отсутствием; но вместе с этим он порабощал бы свою душу богатством, привыкал бы замещать ими свои обязанности и думать, что он избавлен от всего, если только платит. У Эмиля другой образ мыслей, и я надеюсь, что не буду причиной его перемены. Неужели вы думаете, ему легко было остаться? Мама! Не обманывайтесь: он остался из-за меня; я это хорошо видела в его глазах».

Это не значит, чтобы Софи снисходительно относилась к ухаживанию, вытекающему из истинной любви; напротив, она властна, требовательна; она лучше хотела бы вовсе не быть любимой, чем быть любимой слегка. Она обладает благородною гордостью, свойственной достоинству, которое сознает себя, уважает себя и хочет, чтобы его так же почитали, как она себя почитает. Она пренебрегла бы сердцем, которое не умело бы чувствовать всей цены ее сердца и не любило бы ее за добродетели столько же и даже больше, чем за ее прелести, — сердцем, которое не предпочитало бы ей своего собственного долга, а ее самое — всякой иной вещи. Она не захотела бы иметь возлюбленного, который не знал бы иного закона, кроме ее воли; она хочет царить над человеком, но так, чтобы не искажать его. Таким-то образом, уничтожив спутников Улисса, Цирцея презирает их и отдается тому одному, кого не смогла преобразить⁴⁴.

Но, оставив в стороне это ненарушимое и священное право, Софи крайне ревниво хранит все свои и внимательно следит, насколько строго уважает их Эмиль, с каким усердием он исполняет ее жела-

ния, с какою ловкостью предугадывает их, с какою бдительностью является в указанную минуту: она хочет, чтобы он и не опаздывал, и не опережал срока, хочет чтобы он был точен. Опережать — значит себя предпочитать ей, опаздывать — значит пренебрегать ею. Пренебрегать Софи! Случись это раз — другого вовеки не будет! Несправедливое даже подозрение могло бы погубить все; но Софи справедлива и отлично умеет заглаживать свою вину.

Раз вечером нас ждали; Эмиль получил приказание. Вышли встречать нас. Мы не приходим. Что с ними стало? Какое несчастье постигло их? Неужели не будет известий с их стороны? Вечер прошел в ожидании. Бедная Софи считает нас умершими; она безутешна, она мучится и проводит всю ночь в слезах. С вечера снаряжен был посол, чтобы осведомиться относительно нас и на другой день утром принести известия. Посол возвращается в сопровождении другого, отправленного с нашей стороны с устными извинениями и заявлением, что мы живы и здоровы. Минуту спустя являемся и мы сами. Тогда сцена меняется; у Софи высыхают слезы, а если она и проливает их, то это слезы ярости. Ее гордое сердце не унижается, хотя она и уверилась, что мы живы: Эмиль жив — и заставлял понапрасну ждать себя.

При нашем приходе она хочет запереться. Ей велят остаться — приходится оставаться; но тотчас же, покорившись, она принимает спокойный и довольный вид, чтобы поразить им других. Отец встречает нас и говорит: «Вы произвели переполох между вашими друзьями; здесь есть люди, которые нелегко вам это простят». — «Кто же это, папа?» — спрашивает Софи с самой любезной улыбкой, какую только способна притворно выказать. «Что тебе за дело? — отвечает отец, — лишь бы это не ты». Софи не возражает и опускает глаза к своей работе. Мать принимает нас с холодным и натянутым видом. Смущенный Эмиль не осмеливается подойти к Софи. Она заговаривает с ним первая, спрашивает, как он здоров, приглашает садиться и так удачно притворяется, что бедный молодой человек, ничего еще не понимающий в языке сильных страстей, обманут этим хладнокровием и чуть сам не готов разобидеться.

Чтобы вывести его из заблуждения, я беру руку Софи и хочу поднести ее к губам, как иной раз делаю; она резко отнимает ее с словом «сударь!», так странно произнесенным, что это невольное движение души в один момент раскрывает Эмилю глаза.

Сама Софи, видя, что изменила себе, уже меньше притворяется. Ее наружное хладнокровие заменяется ироническим презрением. На обращенные к ней речи она отвечает одпосложными словами, произнесенными медленным и неуверенным тоном, как будто боясь,

чтобы в них не слишком резко проглядывало негодование. Эмиль, полуживой от ужаса, смотрит на нее со скорбью и старается привлечь на себя ее взоры, чтобы лучше прочесть в них ее истинные чувства. Софи, еще более раздраженная его самоуверенностью, бросает на него такой взгляд, что отнимает у него всякую охоту беспокоить ее в другой раз. Эмиль, переконфуженный и трепещущий, не смеет уже, к великому для себя счастью, ни заговорить, ни взглянуть на нее; ибо, будь он даже неповинен, она никогда ему не простила бы, если б он отнесся пренебрежительно к ее гневу.

Видя, что теперь моя очередь и что пора объясниться, я подхожу снова к Софи. Я снова беру ее руку, и она уже не отнимает ее, ибо готова пасть в обморок. Я нежно говорю ей: «Дорогая Софи, мы попали в беду, но вы рассудительны и справедливы, не осудите нас, не выслушав: слушайте же». Она ничего не отвечает, и я веду такую речь:

«Вчера мы отправились в четыре часа; нам велено было явиться в семь, а мы всегда назначаем себе больше времени, чем это необходимо, с целью отдохнуть по дороге сюда. Мы уже прошли три четверти пути, как вдруг до нашего слуха доносятся скорбные рыдания; они раздавались из ущелья, в некотором от нас расстоянии. Мы прибегаем на крики и находим несчастного поселянина, который, возвращаясь из города на лошади немного под хмельком, упал с нее и так неудачно, что сломал себе ногу. Мы кричим, зовем на помощь, никто не отзывается; мы пытаемся посадить раненого на лошадь, но совершенно безуспешно: при малейшем движении несчастный испытывает страшные муки. Мы решили, наконец, привязать лошадь в лесу, в сторонке; затем, образовав из рук носилки, укладываем на них раненого и несем его, как только можно осторожнее, к нему домой, следуя направлению, которое он нам указывал. Переход был продолжительный; несколько раз приходилось отдыхать. Наконец, мы добираемся, истомленные усталостью; к нашему горькому изумлению, оказывается, что дом этот нам уже знаком и что несчастный, которого мы с таким трудом несли домой, был тем самым крестьянином, который так сердечно принял нас в день первого нашего прибытия сюда. Среди тревоги, в которой мы были, мы не могли до этого момента признать его.

У него было двое маленьких детей. Жена его, готовившаяся подарить ему третьего, так была поражена случившимся, что почувствовала острые боли и через несколько часов разрешилась от бремени. Что было делать в таком положении, в уединенной избушке, где нельзя было надеяться ни на какую помощь? Эмиль решился захватить лошадь, оставленную нами в лесу, сесть на нее

и мчаться во всю прыть в город за лекарем. Лошадь он отдал лекарю; сам же, не найдя сиделку, возвратился назад пешком со слугою, послав предварительно к вам нарочного, меж тем как я, попав в такое безысходное, как видите, положение между мужчиной со сломанною ногой и женщиною при родах, подготавливал пока в доме все, что было необходимо, насколько я мог предвидеть, для помощи им обоим.

Я не стану излагать вам остальных подробностей — не в них дело. До двух часов пополуночи мы не имели — ни тот, ни другой — ни минуты отдыха. Наконец, к рассвету мы достигли нашего убежища, здесь поблизости, где и ждали часа вашего пробуждения, чтобы отдать вам отчет в своем приключении».

Я смолк, ничего не прибавив. Но прежде, чем кто-либо заговорил, Эмиль подходит к своей возлюбленной и, возвышая голос, говорит ей с большею твердостью, чем я ожидал: «Софи! вы — решительница моего жребия; вы отлично это знаете. Вы можете заставить меня умереть с горя; но не надейтесь заставить меня забыть права человечности; они для меня священнее ваших прав, и я никогда не откажусь от них ради вас».

Софи при этих словах вместо ответа поднимается, обнимает его и целует в щеку; затем, протягивая ему с неподражаемою грацией руку, говорит: «Эмиль! бери эту руку: она твоя. Будь, если захочешь, моим супругом и моим повелителем: я постараюсь заслужить эту честь».

Едва она обняла его, как восхищенный отец хлопает руками с криком: «Бис! Бис!» и Софи, не заставляя себя упрашивать, тотчас дважды целует Эмиля в другую щеку; но почти в тот же момент, испуганная всем тем, что сделала, спасается в объятиях матери и прячет свое покрасневшее от стыда лицо.

Я не стану описывать общей радости; всякий должен это понять. После обеда Софи спрашивает, далеко ли это будет, если посетить этих бедных больных. Этого желает Софи, притом же это доброе дело. Приходят: они оказываются на двух отдельных кроватях — одну велел принести Эмиль; вокруг них — люди, пришедшие им помочь, — об этом позаботился Эмпл. Но при всем том они оба так плохо устроены, что страдают столько же от своего положения, сколько от болезни. Софи велит подать себе передник доброй женщины и лучше укладывает ее в постели; затем она то же делает и с мужем: ее нежная и легкая рука умеет отыскать все, что им мешает, и мягче уложить их страждущие члены. Они чувствуют себя облегченными уже тем, что она около них; она как будто предугадывает все, что может их беспокоить. Эта девушка, столь деликатная, не боится

ни грязи, ни дурного запаха и умеет устранить то и другое, не прибегая ни к чьим услугам и не тревожа больных. Та, которую видят всегда столь скромною, а иной раз столь брезгливою, которая ни за что в мире не коснулась бы пальцем постели мужчины, без всякого смущения поворачивает и перемещает раненого и старается уложить его в такой позе, чтобы ему удобно было долго в ней оставаться. Рвение из любви к ближнему стоит скромности; и все это она делает с такою легкостью и искусством, что больной, чувствуя себя облегченным, почти не догадывается, что его трогают. Жена и муж в один голос благословляют милую девушку, которая служит им, жалеет их, утешает. Это ангел небесный, посланный к ним Богом: она напоминает его своей фигурой и миловидностью, напоминает кротостью и добротою. Умиленный Эмиль в молчании любит ее. Мужчина, люби свою подругу! Бог даровал ее тебе для утешения тебя в скорбях, для облегчения в бедствиях. Вот — женщина!

Новорожденного крестят. Наши влюбленные принимают его от купели, сгорая в глубине своих сердец желанием поскорее дать и другим возможность сделать то же самое. Они ждут не дождутся желанного момента; они уверены, что пора уже: все сомнения Софи устранены, но мои — только еще зарождаются. Они еще не там, где думают: нужно, чтобы все имело свой черед.

Раз утром, после того как они не видались два дня, я вхожу в комнату Эмиля с письмом в руке и говорю ему, устремив на него пристальный взгляд: «Что станете вы делать, если узнаете, что Софи умерла?» Он испускает громкий крик, поднимается, всплеснув руками, и, не говоря ни слова, смотрит на меня блуждающим взором. «Отвечайте же», — продолжаю я с тем же спокойствием. Тогда, раздраженный моим хладнокровием, он приближается, со сверкающими от гнева глазами, и, останавливаясь в почти угрожающей позе, говорит: «Что я стал бы делать?.. этого я не знаю; но я хорошо знаю, что я во всю жизнь не увидел бы вторично того, кто это мне сообщит». — «Успокойтесь, — говорю я с улыбкою, — она жива, она отлично себя чувствует, думает о вас, и нас ждут там сегодня вечером. Но пойдем прогуляться и побеседуем».

Страсть, которой он поглощен, не позволяет ему уже предаваться, как прежде, чисто рассудочным беседам: чтобы сделать его внимательным к моим наставлениям, мне следовало заинтересовать его посредством этой самой страсти. Этого именно я и достиг этим страшным предисловием; теперь я вполне уверен, что он станет меня слушать.

«Нужно быть счастливым, дорогой Эмиль: это цель всякого чувствующего существа; это первое желание, внушенное нам природой,

и единственное, которое никогда нас не покидает. Но где счастье? Кто это знает? Каждый ищет его, и никто не находит. Всю жизнь тратят на погоню за ним и умирают, не достигнув его. Юный друг мой! Когда при твоём рождении взял я тебя в свои руки и, призывая Верховное Существо в свидетели обязательства, которое я осмелился взять на себя, посвятил свои дни счастью твоей жизни, знал ли я сам, что беру на себя? — Нет, я знал только, что, делая тебя счастливым, я мог рассчитывать на свое собственное счастье. Пускаясь ради тебя в эти полезные поиски, я делал общее для нас обоих дело.

Пока мы не знаем, что мы должны делать, мудрость состоит в том, чтобы оставаться в бездействии. Вот то правило, в котором более всего нуждается человек и которому он менее всего умеет следовать. Искать счастья, не зная, где оно, — значит рисковать разойтись с ним, значит иметь против себя столько шансов, сколько есть дорог для того, чтобы заблудиться. Но не всем дано умение не действовать. Среди тревоги, в которой нас держит пылкая погоня за благосостоянием, мы скорее согласны обманываться при этой погоне, нежели бездействовать, — с целью разыскать счастье; а раз мы сошли с места, где могли бы познать его, мы уже не умеем возвратиться туда.

Находясь в таком же неведении, я пытался избежать такой ошибки. Принимая на себя попечение о тебе, я решился не делать ни одного бесполезного шага и не давать тебе это делать. Я держался пути природы в ожидании, что она покажет мне путь счастья. Оказалось, что это и был тот самый путь и что я, сам того не думая, шел по нему.

Будь моим свидетелем, будь моим судьей; я не отвергну твоего приговора. Твои первые годы не были принесены в жертву годам последующим; ты наслаждался всеми благами, которые дала тебе природа. Из бедствий, на которые она обрекла тебя и от которых я мог предохранять тебя, ты испытал лишь те, которые способны были закалить тебя для перенесения других бедствий. Всякое бедствие ты терпел лишь для того, чтобы избежать еще большего. Ты не знал ни ненависти, ни рабства. Свободный и довольный, ты остался справедливым и добрым; ибо страдание и порок неразлучны, и человек становится злым лишь тогда, когда бывает несчастным. О, если бы память о твоём детстве жила в тебе до дней твоей старости! Я не боюсь, что, вспоминая о нём, твое доброе сердце перестанет когда-нибудь посылать благословения тому, кто управлял этим детством.

Когда ты вступил в разумный возраст, я уберег тебя от людского мнения; когда твое сердце стало чувствительным, я предохранил тебя от власти страстей. Если б я мог продолжить эту внутреннюю

безмятежность до конца твоей жизни, я вполне обеспечил бы свое дело, и ты был бы всегда счастлив, насколько это возможно для человека; но хотя я окунул твою душу, дорогой Эмиль, в Стиксе, я не мог сделать ее отовсюду неуязвимой; восстает новый враг, которого ты не научился еще побеждать и от которого я не мог тебя спасти. Этот враг — ты сам. Природа и судьба оставили тебя свободным. Ты мог выносить нищету, ты мог претерпевать болезни тела — болезни души тебе были известны; ты зависел лишь от общего человеческого жребия, а теперь ты зависишь от всех привязанностей, которыми сам себя наделил; научившись желать, ты сделал себя рабом своих желаний. Сколько горестей может постигнуть твою душу — даже если ничто в тебе не изменится, ничто не оскорбит тебя, ничто не затронет твоего существа! Сколько болезней ты можешь почувствовать, не будучи больным! Сколько смертей можешь перенести, не умирая! Ложь, ошибка, сомнение могут тебя довести до отчаяния.

Ты видел, как театральные герои, предаваясь крайним горестям, оглашали сцену своими бессмысленными криками, терзались горем, как женщины, плакали, как дети, и таким образом заслуживали рукоплескания публики. Припомни, какою несообразностью показались тебе эти рыдания, эти крики, эти жалобы в устах людей, от которых нужно было ожидать лишь проявлений стойкости и твердости. «Как! — говорил ты, полный негодования. — Этим-то примерам учат нас следовать, эти-то образцы предлагают нам для подражания? Неужели люди боятся, что человек недостаточно еще будет мелким, недостаточно несчастным и слабым, если не станут превозносить его слабость, представляя ее под лживым образом доблести?» Юный мой друг! будь ты не более снисходителен к сцене: ты вот стал одним из ее героев.

Ты умеешь страдать и умирать; ты умеешь подчиняться закону необходимости в сфере физических бедствий; но ты не положил еще закона воздержания твоего сердца; а все тревоги нашей жизни рождаются от наших привязанностей гораздо больше, чем от наших потребностей. Желания наши очень обширны, а сила наша почти ничтожна. Путем желаний человек привязан к тысяче вещей, а сам по себе не привязан ни к чему, даже не привязан к собственной жизни; чем сильнее его привязанности, тем более умножает он свои страдания. На земле все мимолетно: все, что мы любим, рано или поздно ускользнет от нас, а мы так привязаны к нему, как будто оно должно вечно существовать. Какой ужас при одном намеке на смерть Софи! Неужели же ты рассчитывал, что она будет вечно жить? Разве никто не умирает в ее годы? Она должна умереть, дитя

мое, и, быть может, раньше тебя. Кто знает, жива ли она даже в настоящую минуту? Природа обрекла тебя лишь на одну смерть, а ты обрекаешь себя и на другую; и вот тебе предстоит умереть дважды.

Каким жалким оказываешься ты, подчинившись таким образом своим беспорядочным страстям! Вечно лишения, вечно потери, вечно тревоги; ты не будешь даже тем наслаждаться, что тебе останется. Страх все потерять помешает тебе обладать чем бы то ни было; из-за желания следовать только страстям своим ты никогда не сможешь удовлетворить их. Ты вечно будешь искать покоя, а он вечно будет убегать перед тобою; ты будешь жалким, поэтому станешь злым. Да и как ты мог бы не быть злым, не имея иного закона, кроме своих необузданных желаний! Если ты не можешь перенести невольных лишений, то каким образом ты подвергнешься им добровольно? Как сумеешь склонность принести в жертву долгу и противостоять сердцу, чтобы послушаться разума? Если ты не желаешь уже видеть того, кто сообщит тебе о смерти твоей возлюбленной, то как ты согласишься на человека, который захочет отнять ее у тебя живую, который осмелится сказать тебе: «Она умерла для тебя: добродетель разлучила ее с тобою»? Если с нею необходимо жить, что бы там ни было, значит, нужды нет, замужем Софи или нет, свободен ли ты или не свободен, любит она тебя или ненавидит, отдают ли ее за тебя или отказывают: ты хочешь, тебе нужно обладать ею во что бы то ни стало. Скажи же мне, перед каким преступлением остановится тот, у кого нет иных законов, кроме желаний его сердца, и кто не умеет противостоять ни одному из своих вожделений?

Дитя мое, нет счастья без мужества, нет добродетели без борьбы. Добродетель называют доблестью: доблесть есть основание всякой добродетели. Добродетель свойственна существу, слабому по природе и сильному по своей воле: в этом одном и состоит заслуга справедливого человека; и хотя Бога мы называем добрым, но мы не называем Его добродетельным, потому что Ему не нужно никаких усилий для того, чтобы делать добро. Чтобы объяснить тебе это слово, столь поруганное, я ждал, пока ты будешь в состоянии понимать меня. Пока ничего не стоит проявлять добродетель, мало нужды знакомиться с нею. Эта нужда приходит, когда пробуждаются страсти, — и вот для тебя она уже пришла.

Воспитывая тебя во всей природной простоте, я вместо того, чтобы проповедовать тебе трудные обязанности, оградил тебя от пороков, делающих эти обязанности трудными; я сделал ложь скорее бесполезною тебе, чем ненавистною; я научил тебя не столько воздавать каждому должное, сколько заботиться лишь о том, что отно-

сится к тебе; я сделал тебя скорее добрым, чем добродетельным. Но кто добр только, тот остается таким лишь до тех пор, пока находит в этом удовольствие: доброта сокрушается и гибнет при столкновении с людскими страстями; кто только добр, тот добр лишь для себя.

Что же такое человек добродетельный? ⁴⁵ Это тот, кто умеет побеждать свои привязанности; ибо в этом случае он следует разуму, совести своей, исполняет долг свой, держит себя в порядке, — и ничто не может сбить его с пути. Доселе ты был свободен лишь наружно, ты пользовался лишь случайной свободой раба, которому ничего не приказали. Теперь будь свободен в действительности; учись делаться своим собственным господином: повелевай своему сердцу, Эмиль, — и ты будешь добродетельным.

Итак, вот новый курс учения, предстоящий тебе, и это учение труднее первого; ибо природа избавляет нас от бедствий, ею посылаемых, или научает переносить их; но она ничего нам не говорит относительно тех, которые исходят от нас самих; она покидает нас на произвол, предоставляет нам, как жертвам своих страстей, изнемогать под бременем напрасных страданий, да еще хвалиться слезами, из-за которых мы должны были бы краснеть.

Это твоя первая страсть. Это, быть может, единственная, достойная тебя. Если ты сумеешь управлять ею по-человечески, она будет и последнею; ты возьмешь верх над всеми остальными и будешь повиноваться одной добродетели.

Эта страсть не преступна — я хорошо это знаю; она так же чиста, как те души, которые испытывают ее. Честность ее создала, невинность ее воспитала. Счастливые возлюбленные! прелести добродетели служат вам лишь новым добавлением к прелестям любви; и приятные узы, вас ожидающие, будут столько же наградой за ваше благоразумие, сколько за вашу привязанность. Но скажи мне, искренний человек: ведь эта страсть, столь чистая, тем не менее покорила тебя? Ведь ты все-таки же стал ее рабом и, если она завтра перестанет быть невинною, разве ты сможешь завтра же заглушить ее? Теперь-то именно пора испытать твои силы; а тогда уже не время, когда приходится употребить их в дело. Эти опасные опыты нужно производить подальше от опасности. Никто не упражняется в борьбе перед лицом неприятеля — к ней готовятся до войны, а на войну идут совершенно подготовленными.

Большое заблуждение — разделять страсти на позволительные и запретные с целью предаваться первым и уклоняться от вторых. Все они хороши, когда мы остаемся повелителями их; все они дурны, когда мы подчиняемся им. Природа запретила нам расширять свои

привязанности свыше сил своих; разум запрещает желать того, чего не может достигнуть; совесть запрещает поддаваться искушениям намеренно, а не помимо воли. Не в нашей власти — иметь или не иметь страсти, но от нас зависит — царить над ними. Все чувствования, над которыми мы господствуем, законны; все те, которые над нами господствуют, преступны. Человек не виновен в том, что полюбил жену другого, если эту несчастную страсть он держит в подчинении требованиям долга; но он виновен, если любит свою собственную жену до такой степени, что все приносит в жертву своей любви.

Не жди от меня длинных правоучений: одно лишь правоучение предстоит мне преподать, и оно обнимает собою все прочие. Будь человеком; удерживай свое сердце в пределах своего назначения. Изучай и познай эти пределы; как они ни тесны, человек не бывает несчастлив, пока в них заключен; несчастным он бывает лишь тогда, когда хочет перейти их; несчастен он, когда среди своих бессмысленных желаний ставит в число возможных вещей то, что невозможно; несчастлив бывает, когда забывает свое человеческое положение с тем, чтобы создать себе воображаемое, которое всегда сводится в конце концов к его собственному. Чувствительным бывает лишение только тех благ, которые он считает себя вправе иметь. Очевидная невозможность получить их отбивает к ним всякую охоту; безнадежные желания не мучат. Нищего не мучит желание быть королем; король хочет быть богом лишь тогда, когда воображает, что он уже не человек.

Иллюзии, порождаемые гордостью, служат источником наибольших наших бедствий; но созерцание человеческой нищеты всегда делает мудреца умеренным. Он держится на своем месте, он не волнуется желанием сойти с него; он не тратит попусту сил, чтобы наслаждаться тем, чего не может сохранить; а употребляя все силы на то, чтобы наилучшим образом обладать тем, что у него есть, он в действительности бывает могущественнее и богаче нас всем тем, чего желает меньше, чем мы. Будучи существом смертным и обреченным на гибель, стану ли я связывать себя вечными узами здесь на земле, где все изменяется, все минует и откуда я сам завтра же исчезну? Эмиль, сын мой! что останется от меня, если я тебя потеряю? А между тем мне нужно приучиться к мысли потерять тебя; ибо кто знает, когда тебя отнимут у меня?

Итак, если хочешь жить счастливо и разумно, привязывай свое сердце лишь к такой красоте, которая не погибает; пусть назначение твое ставит предел твоим желаниям, пусть обязанности твои идут впереди твоих склонностей: распространи закон необходимости

и на нравственный мир; научись терять то, что может быть отнято у тебя; научись покидать все, когда это повелевает добродетель; научись ставить себя выше случайностей, отрекаться от них, не терзаясь сердцем, быть мужественным в превратностях судьбы, дабы не быть никогда жалким; быть твердым в исполнении долга, дабы не стать никогда преступным. Тогда ты будешь счастлив, независимо от судьбы, и разумен, независимо от страстей. Тогда в обладании даже непрочными благами ты найдешь наслаждение, которого ничто не может смутить; ты будешь обладать ими, а они тобою — не будут; ты почувствуешь, что человек, от которого все ускользает, может наслаждаться лишь тем, что умеет терять. Ты не испытаешь, правда, очарования воображаемыми удовольствиями; но зато у тебя не будет и горестей, которые бывают результатом их. Ты много выиграешь от этого обмена, ибо горести эти часты и действительны, а удовольствия редки и призрачны. Восторжествовав над столькими обманчивыми мнениями, ты восторжествуешь и над мнением, придающим такую большую цену жизни. Ты проведешь свою жизнь без тревоги и закончишь ее без ужаса; ты расстанешься с нею так, как расстанешься со всякой вещью. Пусть другие, охваченные ужасом, думают, что, покидая жизнь, они перестают существовать; поняв свое ничтожество, ты будешь думать, что лишь начинаешь ее. Смерть — конец жизни для злого и начало жизни для праведного».

Эмиль слушает меня со вниманием и вместе с тем с беспокойством. Он боится, чтобы за этим предисловием не последовало какое-нибудь злое заключение. Он предчувствует, что, указывая ему на необходимость упражнять душевную силу, я хочу и действительно возложить на него это суровое упражнение; и, как раненый, который содрогается при приближении хирурга, он уже чувствует на своей ране болезненное, но спасительное прикосновение руки, которая не допускает рану до разложения.

Растерянный, смущенный, торопящийся узнать, к чему клонится моя речь, он вместо ответа задает мне вопросы, но задает со страхом. «Что же делать?» — говорит он почти с трепетом и не смея поднять глаз. «Что делать? — отвечаю я твердым голосом, — нужно расстаться с Софи». — «Что вы говорите! — восклицает он вспыхливо, — расстаться с Софи, покинуть ее, обмануть, быть изменником, плутом, клятвопреступником!» — «Как! — прерываю я его. — Эмиль боится, чтобы я не научил его чему-нибудь такому, что он и в самом деле заслужит эти наказания!» — «Нет, — продолжает он с тою же стремительностью, — ни вас и никого другого; я сумею, помимо вашей воли, сберечь ваше дело; я сумею не заслужить их».

Я ждал этой первой вспышки; я даю ей пройти, несколько не

волнуясь. Если б я не обладал тою сдержанностью, которую я проповедую, с какою миною я стал бы ему проповедовать! Эмиль настолько знаком со мною, что считает меня неспособным требовать от него чего-нибудь такого, что дурно, а он хорошо знает, что было бы дурно покинуть Софи — в том смысле, какой он придает этому слову. Итак, он ждет, чтобы я наконец объяснился. Тогда я начинаю снова свою речь.

«Неужели ты думаешь, дорогой Эмиль, что человек, в каком бы то ни было положении, может быть более счастлив, чем вы были в течение этих трех месяцев? Если ты так думаешь, то разуверься в этом. Не вкусив еще удовольствий жизни, ты уже исчерпал ее счастье. Выше того, что ты чувствовал, ничего нет. Чувственное блаженство мимолетно, и обычное состояние сердца всегда остается после этого в проигрыше. Ты надеждой наслаждался больше, чем будешь когда-либо наслаждаться действительностью. Воображение, разукрашивающее то, чего желают, охладевает при обладании. Кроме единственного существа, которое существует само по себе, прекрасно только то, чего нет. Если б это состояние могло продолжаться вечно, ты отыскал бы высшее счастье. Все же, связанное с человеком, носит отпечаток тленности; всему наступает конец, все преходяще в человеческой жизни; да если бы состояние, делающее нас счастливыми, и продолжалось непрерывно, привычка наслаждаться им притупила бы в нас всякий вкус. Если ничто не меняется извне, меняется сердце: счастье покидает нас или мы его покидаем.

Пока ты упивался, время, которого ты не измерял, меж тем текло. Лето кончается, приближается зима. Если бы мы и могли продолжать свои экскурсии в столь суровое время года, нам никогда этого не позволили бы. Приходится, помимо воли, менять образ жизни; этот не может продолжаться. Я вижу по твоим нетерпеливым взорам, что эта трудность не ставит тебя в тупик: признание Софи и твои собственные желания подсказывают тебе, какой есть легкий способ укрыться от снега и не предпринимать уже путешествий для свидания с нею. Средство, без сомнения, удобное; но с наступлением весны снег тает, а брак остается: нужно обсудить это с точки зрения всех времен года.

Ты хочешь жениться на Софи, а нет еще пяти месяцев с тех пор, как ты познакомился с нею! Ты хочешь жениться не потому, что она подходит тебе, но потому что она правится, как будто любовь никогда не обманывается насчет взаимного соответствия, как будто, кто начинает с любви, тот никогда не оканчивает ненавистью! Она добродетельна — я это знаю; но разве этого достаточно? Разве для того, чтобы подходить друг к другу, достаточно быть честными

людьми? Не в добродетели ее сомневаюсь я, а в характере. Разве характер женщины обнаруживается в один день? Знаешь ли ты, в скольких положениях нужно видеть ее, чтоб основательно узнать ее нрав? Неужели четырехмесячная привязанность служит тебе ручательством за всю жизнь? Быть может, двухмесячное отсутствие заставит тебя забыть о ней; быть может, другой ожидает лишь твоего удаления, чтобы изгладить память о тебе из ее сердца; быть может, по возвращении ты найдешь ее столь равнодушной, сколько до сих пор находил чувствительной. Чувства не зависят от принципов: она может остаться очень честной и перестать тебя любить. Она будет постоянна и верна — я склонен этому верить; но кто тебе ручается за нее и кто ей — за тебя, пока вы не подвергли себя испытанию? Неужели ты ждешь для этого испытания времени, когда оно станет для тебя уже бесполезным? Неужели ознакомление ты будешь откладывать до той поры, когда тебе нельзя уже будет отделиться?

Софи нет еще восемнадцати лет; тебе едва исполнилось двадцать два года; это возраст любви, а не брака. Хорош отец, и хороша мать семейства! Эх, если хотите умело воспитывать детей, подождите по крайней мере, пока сами не перестанете быть детьми! Знаете ли вы, как часто у молодых особ тяготы беременности, преждевременно вынесенные, расслабляют организм, разрушают тело, сокращают жизнь? Знаете ли вы, сколько детей остались немощными и слабыми из-за того, что питались в теле недостаточно еще развившемся? Когда мать и ребенок растут одновременно и вещество, необходимое для роста каждого из них, делится на двоих, то ни мать, ни ребенок не получают того, что предназначает им природа: как же им обоим не страдать от этого? Что-нибудь одно: или я очень плохо знаю Эмиля, или он лучше согласится жениться позже и иметь крепких детей вместо того, чтобы удовлетворять своему нетерпению в ущерб их жизни и здоровью.

Обратимся к тебе самому. Мечтая о звании супруга и отца, хорошо ли ты поразмыслил об их обязанностях? Становясь главою семьи, ты станешь членом государства. А что значит быть членом государства? Знаешь ли ты это? Ты изучал свои человеческие обязанности, но знаком ли ты с обязанностями гражданина? Знаешь ли ты, что такое правительство, законы, отечество? Знаешь ли ты, какою ценой покупается право жить и за кого ты должен умирать? Ты думаешь, что все узнал, а не знаешь еще ничего. Прежде чем займешь место в гражданском строе, ознакомься с ним и постарайся узнать, какой ранг тебе в нем подходит.

Эмиль! нужно расстаться с Софи, — я не говорю «покинуть ее»;

если бы ты на это был способен, для нее было бы счастьем не выйти за тебя: расстаться нужно затем, чтобы возвратиться достойным ее. Не будь настолько тщеславен, чтобы думать, что ты уже достоин ее. О, как много остается еще тебе сделать! Ступай же выполнять эту благородную задачу; ступай, научись переносить разлуку; ступай зарабатывать себе награду за верность, чтобы по возвращении можно тебе было чем-нибудь похвалиться перед нею и требовать руки ее не как милости, но как вознаграждения».

Не привыкший еще бороться с самим собою, не привыкший еще желать одного, а домогаться другого, молодой человек не сдается; он противится, спорит. Зачем ему отказываться от счастья, его ожидающего? Не значит ли это пренебрегать рукою, ему предложенною, если он медлит принять ее? К чему же удаляться от нее, если он хочет научиться тому, что должен знать? Да если б это было необходимо, почему бы ему, соединившись неразрывными узами, не сделать из них верного залога своего возвращения? Пусть он станет ее супругом, и тогда он готов за мною следовать; пусть их соединят, — и он без боязни покинет ее... «Соединиться с тем, чтобы покинуть, — дорогой Эмиль, какое противоречие! Прекрасно, если влюбленный может жить без своей возлюбленной; но муж никогда не должен покидать свою жену без необходимости. Чтобы избавить тебя от угрызений совести, отсрочка, я вижу, должна быть невольной: нужно, чтобы ты мог сказать Софи, что покидаешь ее помимо своей воли. Ну, так будь же доволен и, раз не повинуюешься рассудку, признай над собою другого господина. Ты ведь не забыл же о договоре, заключенном со мною. Эмиль! Нужно расстаться с Софи — я этого хочу».

При этом слове он опускает голову, с минуту молчит и обдумывает, затем, смотря на меня с твердостью, говорит: «Когда же мы отправляемся?» — «Через неделю, — отвечаю я, — нужно подготовить Софи к этому отъезду. Женщины слабее, их нужно щадить, и так как эта разлука для нее не такой долг, как для тебя, то ей позволительно выносить ее с меньшим мужеством».

Мне очень хотелось бы продолжить до разлуки молодых людей летопись их любви; но я уже давно злоупотребляю снисходительностью читателей; сократим же рассказ, чтобы окончить сразу. Осмелится ли Эмиль приступить к своей возлюбленной с тою же твердостью, какую он только что выказал перед своим другом? Я в этом уверен; самая истинность его любви должна быть для него источником этой твердости! Он был бы более смущенным перед ней, если б ему легче было покинуть ее: он расставался бы с сознанием вины, а эта роль всегда тягостна для честного сердца; но чем дороже ему

стоит жертва, тем больше он гордится ею в глазах той, которая делает эту жертву тяжелой для него. Он не боится, что она ложно поймет мотивы, заставляющие его принять это решение. Он как бы говорит ей при каждом взгляде: «Софи! читай в моем сердце — и будь верна; твой возлюбленный не без добродетели».

Гордая Софи, с одной стороны, старается перенести непродвиденный удар, ее поразивший. Она силится казаться равнодушной; но так как ее не одушевляет, как Эмиля, честь борьбы и победы, то твердость ее оказывается менее выдержанной. Она плачет, вздыхает, к своей досаде, а страх быть забытой обостряет горесть разлуки. Не перед милым своим она плачет, но ему высказывает свои опасения: она скорее предпочла бы задохнуться, чем испустить хотя один вздох в его присутствии: я именно выслушиваю ее жалобы, я вижу ее слезы, меня она нарочно выбирает в поверенные. Женщины ловки и умеют притворяться: чем больше она втайне ропщет на мою тиранию, тем старательнее угождает мне; она чувствует, что судьба ее в моих руках.

Я утешаю ее, успокаиваю, ручаюсь перед ней за ее возлюбленного или, скорее, супруга: пусть сохраняет она такую же верность к нему, как и он к ней, — и через два года он будет супругом ее; я клянусь в этом. Она настолько уважает меня, что уверена в том, что я не хочу ее обманывать. Я ручаюсь перед каждым из них за другого. Сердца их, добродетель их, моя честность, доверие родителей — все их обнадеживает. Но что сделает рассудок против бессилия?.. Они разлучаются так, как будто никогда не должны свидеться.

Тут-то Софи вспоминает секреты Эвхарисы, и ей думается, что она действительно на ее месте. Не дадим во время разлуки разжигать эту фантастическую любовь. — «Софи! — говорю я однажды, — поменяйтесь с Эмилем книгами. Дайте ему вашего «Гелемака», чтобы он учился походить на него, а вам пусть он отдаст «Зрителя»⁴⁶, которого вы любите читать. Изучайте по нему обязанности честных женщин и не забывайте, что через два года обязанности эти придется исполнять вам самим». На смену эту охотно соглашаются оба, и она придает им уверенности. Наконец настает грустный день — приходится расстаться.

Достойный отец Софи, с которым я во всем условился, обнимает меня, прощаясь со мною; затем, отводя меня в сторону, обращается ко мне серьезным тоном и с особым ударением со следующими словами: «Я сделал все, чтобы угодить вам; я знал, что имею дело с честным человеком; мне остается сказать вам одно слово: помните, что ваш воспитанник подписал уже свой брачный контракт — на устах моей дочери».

Какая разница в поступках обоих влюбленных! Эмиль, стремительный, горячий, взволнованный, сам не свой, испускает восклицания, проливает потоки слез на руках отца, матери, дочери, рыдая, обнимает всю домашнюю прислугу и тысячу раз повторяет одно и то же с беспорядочностью, которая во всяком другом случае показалась бы смешною. Софи, угрюмая, бледная, с потухшими глазами, мрачным взором, остается покойною, не говорит ни слова, не плачет, никого не видит, даже Эмиля. Напрасно он берет ее руки, сжимает ее в объятиях: она остается недвижной, нечувствительной к его слезам, его ласкам, ко всему, что он делает: для нее — он уже уехал. Насколько это трогательнее докучливых причитаний и шумных сожалений ее возлюбленного! Он видит это, чувствует это, у него разрывается сердце; с трудом я увлекаю его; оставь я его еще на минуту — и он не захочет уезжать. Я очень доволен, что он унесит с собою этот печальный образ. Если когда-либо ему вздумается забыть то, что он должен питать к Софи, то, представляя его в том виде, как он оставил ее в момент отправления, я легко возвращу его к ней, если только сердце его не совершенно охладело.

О путешествиях

Спрашивают, полезно ли молодым людям путешествовать, и много спорят об этом. Если бы вопрос ставить иначе и спрашивать, полезно ли людям путешествовать, то, быть может, он не вызывал бы столько споров.

Злоупотребление книгами убивает науку. Воображая, что знают прочитанное, люди считают себя избавленными от необходимости изучать. Слишком усердное чтение создает лишь самодовольных невежд. Из всех веков литературы не было века, в котором читали бы столько, сколько в нынешнем, и в котором было бы так мало людей знающих; ни в одной из стран Европы не печатают столько историй, сколько описаний путешествий, как во Франции, и нет страны, где меньше были бы знакомы с духом и нравами других народов. Такая масса книг заставляет нас пренебрегать книгой мира; а если мы и читаем еще в ней, то каждый держится своей страницы. Если бы фраза: «Можно ли быть персом?» — была мне неизвестна, слыша ее, я сейчас догадался бы, что она создана в такой стране, где больше всего царят национальные предрассудки, и тем полом, который больше всего распространяет их.

Парижанин уверен, что знает людей, а знает одних французов; живя в городе, всегда переполненном иностранцами, он смотрит на

каждого иностранца как на необычайный феномен, не имеющий ничего себе равного в остальной вселенной. Нужно вблизи видеть горожан этого великого города, нужно пожить с ними, чтобы поверить, что с таким умом можно быть таким глупым. Всего страннее то, что каждый из них, быть может, раз десять читал описание страны, житель которой так сильно изумляет его.

Слишком мудрено пробираться сквозь предрассудки авторов и наши собственные, чтобы дойти до истины. Я провел жизнь в чтении описаний путешествий и никогда не находил хоть двух описаний, которые давали бы мне одинаковое понятие об одном и том же народе. Сравнивая немногие, вынесенные мною наблюдения со всем прочитанным, я кончил тем, что забросил путешественников и пожалел о времени, вполне убедившись, что когда дело касается наблюдений какого бы то ни было рода, то нужно не читать, а видеть. Это было бы верно и тогда, если бы все путешественники были искренны, если б они говорили лишь то, что видели или что думают, если б они рядили истину только в те ложные цвета, которые она принимает в их глазах. Но каково бывает, когда приходится распутывать ее из массы лжи и недобросовестности!

Предоставим же хваленую книжную мудрость тем, кто способен ею довольствоваться. Она, как и искусство Раймонда Луллия ⁴⁷, хорошо может научить болтовне о том, чего не знаешь. Она годится лишь на то, чтобы создавать пятнадцатилетних Платонов, которые философствуют в гостиных и знакомят общество с обычаями Египта и Индии со слов Поля Люка ⁴⁸ или Тавернье ⁴⁹.

Я считаю за неоспоримую истину, что, кто видел всего один народ, тот не знает людей, а знает лишь тех, с которыми жил. Итак, вот еще новый способ постановки вопроса о путешествиях: достаточно ли образованному человеку знать одних соотечественников или для него важно знать людей вообще? Тут уже нет места ни спорам, ни сомнению. Видите, насколько решение трудного вопроса зависит иной раз от способа постановки его.

Но чтобы изучить людей, нужно ли для этого объехать всю землю? Нужно ли для наблюдения над европейцами побывать в Японии? Чтобы ознакомиться с родом, нужно ли для этого знакомиться со всеми индивидами? Нет; есть люди, которые столь походят друг на друга, что не стоит изучать их отдельно. Кто видел десятерых французов, тот видел их всех. Хотя нельзя сказать того же об англичанах и некоторых других народах, все-таки несомненно, что каждая нация имеет свой особый, специфический характер, который узнается путем индукции — из наблюдения не над одним членом, но

над многими. Кто сравнил десять народов, тот узнал людей, точно так же как, кто видел десять французов, тот знает французов.

Для образования недостаточно объезжать страны; нужно уметь путешествовать. Чтобы наблюдать, для этого нужно иметь глаза и обращать их на тот именно предмет, который хочешь знать. Есть много людей, которых путешествия еще менее развивают, чем книги, потому что им незнакомо искусство мыслить, потому что при чтении умом их руководит по крайней мере автор, а при путешествии они сами собою ничего не умеют увидеть. Другие не научаются потому, что не хотят научиться. Цель их совершенно иная, так что образование нисколько не занимает их; это редкая удача, если кто с точностью подмечает то, чего не старался подметить. Из всех народов в мире французы больше всего путешествуют; но, пропитанные своими обычаями, они путают все, что не сходно с этими последними. Французы есть во всех уголках вселенной. Ни в одной стране не встречаешь столько людей, совершавших путешествия, как во Франции. И при всем том, однако, из всех народов Европы тот, который видит больше всего, меньше всего знает.

Англичанин тоже путешествует, но иначе; этим двум народам как бы суждено быть во всем противоположными. Английская знать путешествует, французская не путешествует; французский народ путешествует, английский — нет. Разница эта, мне кажется, клонится к чести последнего. У французов почти всегда есть какая-нибудь корыстная цель при путешествии; англичане же не пускаются искать счастья у других наций — разве только с целью торговли и с полными руками; если они путешествуют, то затем, чтобы сорить деньгами, а не с целью жить своею изворотливостью; они настолько горды, что не пойдут пресмыкаться на чужбине. Это ведет и к тому, что они большему научаются у иностранцев, чем французы, у которых совершенно другое на уме. У англичан есть, однако, и национальные предрассудки, их даже больше, чем у кого бы то ни было; но эти предрассудки основаны скорее на пристрастии, чем на невежестве. У англичанина — предрассудки гордости, у французов — предрассудки тщеславия.

Подобно тому как народы наименее культурные бывают обыкновенно наиболее благоразумными, точно так же люди, менее других путешествующие, путешествуют лучше других, потому что, будучи менее нас углублены в пустые изыскания и менее заняты предметами нашего пустого любопытства, они посвящают все свое внимание тому, что действительно. На мой взгляд, одни испанцы умеют так путешествовать. В то время как француз обожит всех артистов страны, англичанин срисовывает какой-нибудь памятник древности, а немец

носит свой «альбом» ко всем ученым, испанец молча изучает управление, нравы, полицию; из всех четырех он один, возвращаясь домой, из всего виденного им приносит и какое-нибудь наблюдение, полезное для его страны.

Древние мало путешествовали, мало читали, мало сочиняли книг, и однако же из тех, которые дошли до нас, видно, что они лучше наблюдали друг друга, чем мы наблюдаем своих современников. Не восходя уже до Гомера, единственного поэта, который переносит нас в страну, им описываемую, нельзя не отдать чести и Геродоту, который, хотя история его и ведется в виде рассказа⁵⁰, а не в виде рассуждения, нравы описывает лучше всех наших историков, переполняющих свои книги портретами и характеристиками. Тацит лучше описал германцев своего времени⁵¹, чем какой бы то ни было писатель, описывающий теперешних немцев. Кто много читал из древней истории, тот, бесспорно, лучше знаком с греками, карфагенянами, римлянами, галлами, персами, чем любой народ нашего времени — с своими соседями.

Нужно также признаться, что так как оригинальность народных характеров со дня на день исчезает, то подмечать их вследствие этого делается все труднее. По мере того как расы перекрещиваются и народы перемешиваются, мало-помалу исчезают и национальные особенности, некогда с первого же раза бросавшиеся в глаза. В былое время каждая нация оставалась замкнутой в самой себе; меньше было сообщений, меньше путешествий, меньше интересов, общих или противоположных, меньше политических или гражданских связей между народами; не было всех этих королевских сплетен, называемых дипломатическими переговорами, не было ни посланников, ни резидентов; большие мореплаванья были редки: мало было торговых сношений с отдаленными краями; а если и существовала кое-какая торговля, то велась или самим государем, который пользовался для этого иноземцами, или людьми презираемыми, которые не имели ни на кого влияния и не содействовали сближению наций. Теперь в сто раз более связей между Европой и Азией, чем прежде было между Галлией и Испанией; одна Европа была более расчленена, чем теперь вся земля.

Прибавьте к этому, что древние народы, считавшие себя большею частью автохтонами, т. е. исконными жителями своей страны, занимали ее так долго, что забыли о веках протекших, когда предки их основались там, а климат успевал наложить на них прочную печать, тогда как у нас, после римских вторжений, позднейшие переселения варваров все перемешали, все слили в одно. Теперешние французы уже не рослые люди былого времени, светлорусые и белолицые;

греки уже не прежние красавцы, созданные для того, чтобы служить образцами для искусства; наружность самих римлян, с изменением права их, изменила черты свои; персы, исконные обитатели Татарины, с каждым днем теряют свою прежнюю уродливость вследствие примеси черкесской крови; европейцы уже не галлы, не германцы, не иберийцы или аллоброги ⁵² — все они не что иное, как скифы, различным образом выродившиеся, как по наружности, так еще более по нравам.

Вот почему в древности расовые особенности, свойства климата и почвы резче отличали один народ от другого по темпераменту, наружности, нравам, характеру, чем это бывает в наши дни, когда благодаря нашей европейской неусидчивости ни одна естественная причина не успевает оказать свое влияние, когда вследствие вырубки лесов, осушения болот, более однообразной, хотя и худшей, обработки земли уже не остается даже в физическом отношении прежнего различия между почвами и между странами.

Остановившись на подобного рода соображениях, быть может, не так спешили бы поднять на смех Геродота, Ктезия ⁵³, Плиния за то, что жители различных стран являются у них с оригинальными чертами и резкими особенностями, которых мы уже не видим. Чтобы встретить те же фигуры, для этого нужно было бы встретить тех же людей; остаться одинаковыми они могли бы лишь в том случае, если бы ничто их не изменяло. Можно ли сомневаться, что если бы мы могли сразу увидеть всех живших людей, то между людьми одного века и другого мы нашли бы больше разницы, чем теперь находим между одной и другой нацией.

Делаясь более трудными, наблюдения в то же время начинают производиться небрежнее и хуже; вот еще причина малой успешности наших изысканий в области естественной истории человеческого рода. Сведения, извлекаемые при путешествиях, зависят от цели, с которою эти последние предпринимаются. Когда этою целью бывает подтверждение философской системы, путешественник видит лишь то, что хочет видеть; когда целью бывает материальный интерес, он поглощает все внимание людей, ему предающихся. Торговля и искусства, перемещивая и перепутывая народы, тоже служат помехой к их изучению. Раз они знают, какую прибыль могут извлечь из взаимных сношений, что же больше остается им еще знать?

Человеку полезно ознакомиться со всеми местами, где можно жить, чтобы потом выбрать место, где всего удобнее жить. Если бы каждый мог удовлетворять самого себя, то ему важно было бы ознакомиться лишь с тем пространством страны, которое может его прокормить. Дикарь, ни в ком не нуждающийся и ничего в мире не

желающий, не знает и не старается узнать другие страны, кроме своей. Если ради прокормления он принужден подвигаться дальше, то он избегает мест, заселенных людьми; он гонится лишь за зверями, в них только и нуждается для своего пропитания. Что же касается нас, то, раз гражданская жизнь нам необходима и мы уже не можем обойтись без того, чтобы не есть людей, выгода каждого из нас требует, чтобы посещали такие страны, где легче всего их пожирать. Вот почему все стекается в Рим, в Париж, в Лондон. В столицах всегда кровь человеческая продается дешевле. Таким образом мы знакомимся лишь с великими народами, а великие народы все похожи друг на друга.

У нас, говорят, есть ученые, которые путешествуют для того, чтобы научиться; но это — заблуждение: ученые, как и прочие, путешествуют из-за материальной выгоды. Платонов, Пифагоров уже не встречается; а если и есть они, то очень далеко от нас. Наши ученые путешествуют лишь по поручению двора: их снаряжают, им ассигнуют суммы, платят, чтобы они посмотрели то-то и то-то, а в этом нет, конечно, никакой нравственной цели. Они должны посвящать все свое время этой единственной цели: они настолько честные люди, что не станут даром брать деньги. Если же, в какой бы то ни было стране, любопытные люди путешествуют на свой счет, то это всегда делается не с целью изучать, а с целью поучать людей. Не наука им нужна, а возможность пустить пыль в глаза. Где уж им научиться при своих путешествиях свергать с себя иго людского мнения! Они и путешествуют-то ради него.

Большая разница, для обозрения ли стран путешествуют или для того, чтобы видеть народы. Путешествующие из любопытства всегда имеют в виду первую цель, а вторая бывает для них лишь побочною. Совершенно наоборот должен поступать тот, кто хочет философствовать. Ребенок наблюдает вещи — в ожидании, пока будет в состоянии наблюдать людей. Взрослый должен начинать наблюдение с подобных себе, а потом может наблюдать и вещи, если имеет время.

Таким образом, из того, что мы неумело путешествуем, неосновательно заключать, что путешествия бесполезны. Но если мы признали пользу путешествий, будет ли отсюда следовать, что они полезны всем? Далеко нет; наоборот, они пригодны лишь для очень немногих людей; они пригодны лишь для людей, которые настолько тверды, что могут выслушивать ложные учения, не обольщаясь ими, могут видеть примеры порока, не увлекаясь ими. Путешествия дают дальнейшее развитие природным склонностям и окончательно делают человека добрым или злым. Возвращаясь из странствий по

свету, человек бывает тем, чем будет всю свою жизнь, а возвращаются чаще злыми, чем добрыми, потому что отправляется больше склонных ко злу, чем склонных к добру. Молодые люди, дурно воспитанные и дурно направленные, заражаются в своих путешествиях всеми пороками народов, ими посещаемых, и не перенимают ни одной из добродетелей, перемешанных с этими пороками; но кто хорошо одарен природой, в ком хорошие задатки получили хорошее развитие и кто путешествует с искренним намерением научиться, те все возвращаются лучшими и более мудрыми, чем были при отправлении. Так будет путешествовать и мой Эмиль; так путешествовал тот молодой человек, достойный лучшего века, заслугам которого дивилась Европа, который в цвете лет погиб за свою страну⁵⁴, хотя и заслуживал бы долгой жизни, и могила которого, украшенная лишь его доблестями, ожидала, пока почтит ее чуждая рука, посеявшая на ней цветы.

Все должно делаться на разумном основании, должно подчиняться своим правилам. И для путешествий, если принимать их за часть воспитания, должны быть свои правила. Путешествовать ради путешествия значит слоняться, быть праздношатающимся; путешествовать, чтобы учиться, — это тоже слишком неопределенная цель: учение, не имеющее определенной цели, не имеет смысла. Я желал бы показать молодому человеку осязаемый интерес в учении, и этот интерес, удачно выбранный, придавал бы учению определенную окраску. Все это — продолжение метода, которой я стараюсь держаться.

Рассмотрев себя со стороны физических отношений к другим существам, со стороны нравственных отношений к другим людям, он должен теперь рассмотреть себя со стороны гражданских отношений к своим согражданам. Для этого нужно, чтобы он изучил сначала характер правления вообще, различные формы правительства и, наконец, ту частную форму, при которой он родился, — чтобы знать, удобно ли ему жить при таком правлении; ибо в силу права, которого ничто не может отменить, каждый человек, становясь совершеннолетним и своим собственным властелином, делается властным отказаться от договора, которым он связан с обществом, и покинуть страну, где последнее основалось. Лишь своим пребыванием в ней по наступлении разумного возраста он как бы подтверждает молча обязательство, принятое его предками. Он имеет право отказаться от своего отечества, как и от наследства своего отца; сверх того, раз родина есть дар природы, то, отказываясь от нее, отступаются лишь от своего собственного. Каждый человек, по непреложному праву, остается свободным — на свой собственный

риск, — в каком бы месте ни родился, если только не добровольно подчинил себя законам, чтобы приобрести право быть под их покровительством.

Я сказал бы Эмилю, например, так: «До сих пор ты жил под моим руководством: ты не был в состоянии управлять самим собою. Но вот приближается возраст, когда законы, предоставляя тебе распоряжение своим добром, делают тебя властелином твоей личности. Ты окажешься в обществе одиноким, от всего зависимым, даже от отцовского наследия. Ты имеешь в виду утвердиться на месте: цель похвальная — она составляет одну из обязанностей человека; но, прежде чем жениться, нужно знать, кем хочешь быть, за каким занятием хочешь провести свою жизнь, какие меры хочешь принять для обеспечения куска хлеба себе и своему семейству; ибо, хотя и не следует ставить эти заботы главною своею задачею, нужно все-таки подумать когда-нибудь и об этом. Хочешь ли ты стать в зависимость от людей, которых презираешь? Хочешь ли основать свое благосостояние и упрочить свое положение путем гражданских отношений, которые постоянно будут отдавать тебя в распоряжение другого и принудят, для избавления себя от плутов, сделаться самому плутом?»

Затем я опишу ему всевозможные способы, как пускать в оборот свое добро, путем ли торговли, путем ли службы или посредством финансовых спекуляций; я покажу ему, что нет ни одного способа, который не сопряжен был бы с риском, не ставил бы его в шаткое и зависимое положение и не принуждал бы его регулировать свои нравы, чувства, поведение примером и предрассудками других.

«Есть и еще способ употреблять в дело свое время и свою особу, — сказал бы я ему, — можно поступить в военную службу, т. е. наняться за хорошую плату убивать людей, не сделавших нам ничего дурного. Это ремесло в большом почете между людьми, и они крайне дорожат теми, кто на это лишь и пригоден. Впрочем, ремесло это не только не избавляет от необходимости прибегать к другим ресурсам, но даже делает их еще более необходимыми; ибо к чести этого звания относится и то, что оно разоряет людей, посвящающих себя ему. Разоряются, правда, не все; незаметно входит даже в моду обогащаться в этом звании, как и в других; но я не думаю, чтобы, пояснив тебе, как ведут дело те, кому это удастся, я мог возбудить в тебе охоту подражать им.

Ты узнаешь притом же, что даже в этом ремесле не требуется уже ни мужества, ни храбрости — разве только для успеха у женщин, что, наоборот, наиболее пресмыкающийся, наиболее низкий и раболепный всегда бывает в наибольшем почете, что если вздумаешь

взаправду заниматься своим ремеслом, то тебя станут презирать, ненавидеть, быть может, прогонят и, во всяком случае, ты будешь обойден чинами и вытеснен своими товарищами за то, что нес свою службу в траншеях в то время, как они несли ее за туалетом».

Понятно, что все эти разнообразные занятия не очень-то придутся Эмилю по вкусу. — «Как! — скажет он, — разве я забыл игры своего детства? разве у меня отнялись руки? разве сила моя истощилась? разве я не умею уже работать? Что мне за дело до всех ваших прекрасных должностей, до всех глупых людских мнений? Я не знаю иной славы, кроме славы человека добродетельного и справедливого; я не знаю иной чести, кроме чести жить независимо, с тем, кого любишь, ежедневным трудом добывая себе аппетит и здоровье. Все эти затруднения, о которых вы говорите, меня почти не касаются. Мне не нужно иного имущества, кроме небольшой мызы в каком-нибудь уголке мира. Все мое корыстолюбие ограничится тем, что я стану извлекать из нее доход, — и я проживу безмятежно. Дайте Софи мне и поле — и я буду богатым».

«Да, мой друг, для счастья мудреца достаточно жены и поля, ему принадлежащих; но эти сокровища, хотя и скромные, не так обычны, как ты думаешь. Самое редкое тобою найдено; поговорим о другом из них.

Поле, которое было бы твоим, дорогой Эмиль! А в какой местности найдешь ты его? в каком углу земли ты можешь сказать себе: «Здесь я сам себе хозяин, здесь хозяин участка, мне принадлежащего»? Все знают, в каких местах легко обогатиться; но кто знает, где можно обойтись без этого? Кто знает, где можно жить независимым и свободным, не имея надобности делать кому-либо зло и не боясь испытать его от других? Неужели ты думаешь, что так легко найти страну, где всегда позволительно быть честным человеком? Если есть какое законное и верное средство прожить без интриг, без хлопот, не зная зависимости, то средство это заключается, конечно, в том, чтобы жить трудами рук своих, обрабатывая свою собственную землю; но где то государство, в котором можно сказать: «Земля, которая у меня под ногами, — моя?» Прежде чем избрать эту счастливую землю, хорошо удостоверься, найдешь ли там мир, которого ищешь, берегись, чтобы насильственное правительство, преследующая иноверцев религия, развращенные нравы не нарушили этого мира. Оградись от чрезмерных налогов, которые будут поглощать плоды твоих трудов, от бесконечных тяжб, которые истощат твой капитал. Устрой так, чтобы, живя справедливо, тебе не приходилось кланяться интендантам, их помощникам, судьям, священникам, сильным соседям, всякого рода плутам, всегда готовым мучить тебя, если ты

пренебрегаешь ими. В особенности огради себя от притеснения вельмож и богачей; помни, что всюду их земли могут соприкасаться с виноградником Навуфея⁵⁵. Если на твое несчастье какой-нибудь высокопоставленный человек купит или построит дом рядом с твоею хижинкой — поручишься ли ты, что он не найдет способа под каким-нибудь предлогом захватить твое наследие для округления своих владений и что ты завтра же не увидишь, как все твои средства будут поглощены широкой столбовой дорогой. А если для устранения всех этих неприятностей ты станешь пользоваться связями, то уже лучше сохранить тебе и богатства, ибо беречь их тебе будет не труднее. Богатство и связи взаимно подкрепляют друг друга: одно всегда плохо держится без другого.

У меня больше опытности, чем у тебя, дорогой Эмиль; я лучше вижу затруднительность твоего плана. Все-таки он прекрасен, он честен и действительно сделает тебя счастливым: постараемся же осуществить его. Я хочу предложить тебе следующее: посвятим два года, предназначенные нами для путешествия, на то, чтобы выбрать себе в Европе убежище, где ты мог бы жить счастливо с своим семейством, укрывшись от всех опасностей, о которых я только что говорил. Если это удастся нам, то ты найдешь истинное счастье, тщетно отыскиваемое столькими другими, и не будешь считать время потерянным. Если же мы не будем иметь успеха, то ты излечишься от химерных мечтаний: ты утетишься в неизбежном несчастии и подчинишь себя закону необходимости».

Не знаю, все ли мои читатели сообразят, куда должны привести нас эти изыскания, с подобною целью предпринятые; но я хорошо знаю, что если по возвращении из путешествий, начатых и совершенных с этой целью, Эмиль не окажется посвященным во все вопросы правления, в общественные нравы и всякого рода государственные начала, то, значит, или он лишен ума, или я — рассудка.

Политическое право еще не появлялось, и нужно предположить, что оно никогда не появится. Гроций⁵⁶, учитель всех наших ученых по этой части, не более как ребенок, и, что хуже всего, ребенок недобросовестный. Когда я слышу, как Гроция превозносят до небес, а Гоббса предают проклятию, мне ясно, сколько разумных людей читает или понимает этих двух писателей. На деле же оказывается, что их принципы совершенно сходны и они различаются лишь способом выражения. У них различна метода. Гоббс опирается на софизмы, а Гроций — на поэтов; все остальное у них общее.

Единственным современником, способным создать эту великую и бесполезную науку, был бы Монтескье⁵⁷. Но он и не думал трактовать о принципах политического права: он удовольствовался изу-

чением положительного права существующих правительств; а нет ничего в мире столь разнородного, как эти две сферы знания.

И все-таки, кто хочет здраво судить о правительствах в том виде, как они существуют, тот обязан соединить эти оба способа исследования; чтобы хорошо судить о том, что есть, нужно знать, что должно быть. Труднее всего при исследовании этих важных предметов заинтересовать их обсуждением частного человека и ответить на два вопроса: «Какое мне дело?» и «Что я могу тут поделать?» Эмиля нашего мы сделали способным ответить на оба вопроса.

Вторая трудность обусловлена предрассудками детства, правилами, в которых люди воспитаны, особенно пристрастием писателей, которые постоянно говорят об истине, нисколько о ней не заботясь, а думают только о своем интересе, хотя и не говорят этого. А между тем народ не наделяет ни кафедрами, ни пенсиями, ни местами в академиях; судите после этого, как станут эти люди устанавливать его права! Я постарался, чтобы и этого затруднения не существовало для Эмиля. Он едва знает, что такое правительство; единственная задача, его интересующая, — это отыскать наилучшее; он не имеет в виду сочинять книги; а если когда и напишет книгу, то не с целью выслужиться перед сильными мира сего, а для того чтобы установить права человечества.

Остается третья трудность, скорее мнимая, чем действительная, которую я не хочу ни разрешать, ни выяснять: с меня достаточно того, что она не охлаждает моего усердия, и я вполне уверен, что в изысканиях этого рода не столько необходимы великие таланты, сколько искренняя любовь к справедливости и истинное уважение к правде. Таким образом, если только вопросы о правительстве могут справедливо обсуждаться, то это, по-моему, возможно или теперь, или никогда.

Прежде чем наблюдать, нужно создать себе правила для наблюдений; нужно составить себе масштаб, чтобы потом производить по нему свои измерения. Наши принципы политического права служат этим масштабом. Измерения свои мы будем производить на политических законах каждой страны.

Элементы наши ясны, просты, взяты непосредственно из природы вещей. Они создадутся из вопросов, которые мы обсудим между собою, а положения свои мы тогда лишь обратим в принципы, когда вопросы эти будут удовлетворительно решены.

Например, обращаясь прежде всего к природному состоянию, мы рассмотрим, рабами ли люди рождаются, или свободными, связанными с обществом или независимыми; добровольно ли они соединяются, или насильственно; может ли когда сила, их соединившая,

создать неизменное право, по которому эта предшествующая сила остается обязательною даже тогда, когда пересилена другою, так что со времен Немврода⁵⁸, который, говорят, подчинил своей силе первые народы, все прочие силы, разрушившие эту силу, оказались бы несправедливыми и узурпаторскими, а законными королями были бы лишь потомки Немврода или его преемники; или, если эта первая сила случайно прекратится, обязательна ли, в свою очередь, сила, за ней следующая, и устраняет ли она обязательность первой, — из чего следовало бы, что повиноваться мы обязаны настолько, насколько мы вынуждены к этому, и что мы избавлены от этой необходимости, коль скоро можем оказать сопротивление, хотя право это очень мало, мне кажется, прикрашивает силу и все оказывается лишь игрою слов.

Мы рассмотрим, можно ли говорить, что всякая болезнь приходит от бога и что, значит, звать врача — преступление.

Мы рассмотрим и то, обязательно ли, по совести, отдать на большой дороге кошелек разбойнику, требующему его, хотя бы даже мы могли спрятать его, ведь пистолет, который он держит, та же сила.

Значит ли слово *сила* в этом случае нечто иное, чем законная сила, а следовательно, и подчиненная тем законам, от которых получает свое существование.

Предположив, что люди отвергают это право силы, а за начало обществу принимают природное право или родительскую власть, мы станем отыскивать меру для этой власти, посмотрим, какое у нее основание в природе, оправдывается ли она чем-либо иным, кроме пользы ребенка, слабости его и естественной любви, которую чувствует к нему отец. Если, значит, слабость ребенка прекращается и рассудок его созревает, то не становится ли он единственным и естественным судьей в вопросе о том, что пригодно для его самосохранения, а следовательно, своим собственным властителем, независимым от всякого другого человека, даже от отца? Ведь, что сын любит самого себя, это еще несомненное того, что отец любит сына.

Обязаны ли дети по смерти отца повиноваться старшему или другому какому лицу, которое не будет к ним питать привязанности, естественной для отца, и должен ли из поколения в поколение постоянно существовать единый глава, которому все семейство должно повиноваться? А в этом случае являлся бы вопрос: как власть могла когда-либо разделиться и по какому праву на земле уже не единый глава, управляющий родом человеческим, а многие?

Предположив же, что народы создались путем выбора, мы станем различать тогда право от фактического строя; мы спросим: если

люди подчинялись своим братьям, дядьям или родным не вследствие обязательства, а по своей доброй воле, то не сводится ли подобное общество все-таки к свободной и добровольной ассоциации?

Переходя затем к праву рабства, мы рассмотрим, законно ли, когда человек отдается другому без ограничений, без оговорок, без каких бы то ни было условий, т. е. может ли он отказаться от своей личности, от своей жизни, разума, от своего «я», от всякой нравственной ответственности за свои поступки, — словом, прекратить существование до наступления смерти, вопреки природе, которая непосредственно на него возлагает заботу о его самосохранении, вопреки своей совести и разуму, которые предписывают ему, что он должен делать и от чего должен воздерживаться.

А раз в акте рабства есть некоторая оговорка, некоторое ограничение, то расследуем, не становится ли в таком случае акт этот настоящим договором, при котором каждая из договаривающихся сторон, не имея в качестве таковой общего над собою начальника *, остается в вопросе об условиях договора своим собственным судьей, а следовательно, свободно в этом отношении и властно расторгнуть договор, как скоро сочтет его вредным для себя.

А если раб не может, значит, отдаться без ограничений своему господину, то каким же образом может безусловно отдаться своему владыке народ? Если раб остается судьей в вопросе о том, соблюдает ли договор его господин, то как же народу не остаться судьей в вопросе о соблюдении договора со стороны главы его?

Возвращаясь таким образом назад и разбирая смысл этого собирательного названия н а р о д, мы посмотрим, не нужен ли был для создания народа договор, по крайней мере молчаливый, предшествующий тому, который мы предполагаем.

Так как до избрания себе короля народ бывает все тем же народом, то что же сделало его таковым, как не общественный договор? Следовательно, общественный договор есть базис всякого гражданского общества; в сущности этого акта и нужно искать сущность общества, им образуемого.

Мы поищем, каково содержание этого договора и нельзя ли выразить его в такой приблизительной формуле: «Каждый из нас отдает сообща свое добро, свою личность, свою жизнь и всю свою силу под высшее руководство всеобщей воли, и каждого члена мы совокупно принимаем как нераздельную часть целого».

* Если б они имели над собою общего начальника, то им был бы не кто иной, как государь: и тогда право рабства, основанное на праве верховной власти, не было бы принципом.

Выставив это предположение, мы заметим, с целью определить потребные для нас термины, что вместо частных личностей, составляющих каждую из договаривающихся сторон, этот акт ассоциации производит собою моральное и коллективное тело, составленное из стольких членов, сколько собрание имеет голосов. Эта всенародная личность называется обыкновенно **политическим телом**, если название дается по отношению к его членам, — **государством**, если оно пассивно, — **верховой властью**, если оно активно, — и **державой** по сравнению с ему подобными. Что касается самих членов, то коллективно они называются **народом**, а в частности **гражданами**, как члены **гражданской общины** или участники Верховной власти, и **подданными**, как подчиненные этой самой власти.

Мы заметим, что этот акт ассоциации заключает в себе взаимное обязательство между общенародным целым и отдельными лицами и что каждый индивид, заключая, так сказать, договор с самим собою, оказывается обязанным в двух отношениях, т. е. как член державной власти — в отношении к отдельным лицам и как член государства — в отношении к державной власти.

Мы заметим, кроме того, что если всякий бывает связан лишь теми обязательствами, которые заключены с ним самим, то общенародное решение, могущее обязать всех подданных по отношению к державной власти, — в силу того, что каждый из них может быть рассматриваем с двух различных сторон, — не может поставить государство в обязательные отношения к нему самому. Отсюда видно, что в нем нет и не может быть другого основного (в собственном смысле слова) закона, кроме общественного соглашения. Это не значит, однако, чтобы политическое тело не могло принять известного рода обязательства по отношению к другим; ибо по отношению к иностранцу оно становится существом простым, индивидом.

Так как две договаривающиеся стороны, т. е. каждое частное лицо и общенародное целое, не имеют над собою никакого общего начальства, которое могло бы решать их распри, то нужно рассмотреть, властна ли каждая из них нарушить договор, когда ей угодно, т. е. отказаться от него, насколько он ее касается, как скоро считает себя потерпевшею ущерб.

Для выяснения этого вопроса заметим, что раз, в силу общественного соглашения, державная власть может действовать лишь через мирскую и всеобщую волю, то и действия ее должны также иметь лишь всеобщие и мирские цели; отсюда следует, что частное лицо было бы затронуто непосредственно державной властью лишь в том случае, если были бы затронуты все, а это невозможно, потому

что это значило бы желать самому себе причинить зло. Таким образом, общественный договор не нуждается ни в какой иной гарантии, кроме общенародной силы, потому что ущерб может происходить лишь со стороны частных лиц; и в этом случае их не освобождают из-за этого от обязательства, а наказывают за нарушение его.

Чтобы лучше разрешить все подобные вопросы, мы постараемся помнить всегда, что общественное соглашение носит совершенно особый характер, свойственный ему одному, так как народ заключает договор с самим лишь собою, т. е. народ в совокупности, как державная власть, вступает в договор с частными лицами как подданными; от этого условия и зависит вся замысловатость и весь ход политической машины, оно одно и делает законными, разумными и безопасными обязательства, которые без этого были бы абсурдными, тираническими и подверженными величайшим злоупотреблениям.

Так как частные лица подчинены лишь державной власти, а державная власть есть не что иное, как всеобщая воля, то мы увидим, что каждый человек, повинаясь державной власти, повинуется лишь самому себе и что при общественном договоре люди даже более свободны, чем в естественном состоянии.

Сравнив, по отношению к личности, свободу естественную с свободой гражданской, мы сопоставим затем, по отношению к имуществу, право собственности с правом державной власти, частное обладание с государственною собственностью. Если державная власть основана на праве собственности, то право это она больше всего должна уважать; оно для нее ненаруσιμο и священо, пока остается правом частным и индивидуальным; а как скоро оно рассматривается в качестве общего для всех граждан, оно подчинено всеобщей воле, и эта воля может его уничтожить. Таким образом, державная власть не имеет никакого права касаться имущества частных лиц, одного или многих; но она может законно овладеть имуществом всех, как это было в Спарте во время Ликурга ⁵⁹, тогда как уничтожение долгов, произведенное Солоном, было актом незаконным ⁶⁰.

Так как подданных ничто не обязывает, кроме всеобщей воли, то мы проследим, каким образом обнаруживается эта воля, по каким признакам можно несомненно узнать ее, — посмотрим, что такое закон и каковы истинные черты законности. Предмет этот совершенно новый: определение закона предстоит еще дать.

Как только народ начинает одного или нескольких своих членов рассматривать в отдельности, народ, значит, разделяется. Он образует между целым и его частью соотношение, создающее двух отдельных существ, из которых одно есть часть, а другое — целое, за вы-

четом этой части. Но целое, за вычетом части, не есть целое; значит, пока это отношение существует, нет уже целого, а есть две неравные части.

Напротив, когда весь народ постановляет относительно всего народа, он имеет в виду лишь самого себя, и если здесь создается отношение, то это отношение целого предмета, рассматриваемого с одной точки зрения, к целому предмету, взятому с другой точки зрения, без всякого разделения этого целого. Предмет в этом случае, относительно которого делают постановление, есть всеобщий, и воля, делающая постановление, тоже всеобщая. Мы рассмотрим, может ли какой-нибудь иного рода акт носить имя закона.

Если державная власть может высказываться лишь путем законов, а закон может иметь лишь всеобщую цель, одинаково касающуюся всех членов государства, то отсюда следует, что державная власть не имеет возможности постановлять что-нибудь относительно частного предмета; а так как для сохранения государства важно все-таки, чтоб оно решало и частные дела, то посмотрим, как это можно было бы устроить.

Акты державной власти могут быть лишь актами всеобщей воли; затем нужны акты побудительные — акты силы или управления для исполнения этих самых законов; и эти акты, напротив, могут иметь лишь частные цели. Таким образом, акт, которым державная власть постановляет избрать главу, есть закон; акт же, которым избирают этого главу во исполнение закона, есть акт управления.

Итак, вот еще третья сторона, с которой может быть рассматриваем соединившийся народ, т. е. его можно рассматривать в качестве магистрата или исполнителя законов, изданных им в качестве державной власти *.

Мы рассмотрим, возможно ли, чтобы народ отказался от права державной власти с целью облечь ею одного человека или нескольких; ибо раз акт избрания не есть закон и народ сам не является в этом акте державною властью, то не ясно, каким образом он может в этом случае передать право, которого не имеет.

Так как сущностью державной власти является всеобщая воля, то не ясно также и то, каким образом можно быть уверенным, что частная воля всегда будет в согласии со всеобщей волей. Скорее

* Эти вопросы и предположения извлечены большей частью из «Трактата об общественном договоре», а этот последний, в свою очередь, является отрывком более обширного труда ⁶¹, который я предпринял, не сообразуясь с своими силами, и давно уже оставил. Небольшой трактат, вырванный мною оттуда (сущность которого я здесь излагаю), будет издан особо ⁶².

следует предположить, что она всегда будет противоположна этой последней; ибо частный интерес всегда стремится к тому, чтобы его предпочитали другим, а общественный интерес стремится к равенству; если б это согласие и было возможно, но не было бы необходимым и ненарушимым, то из него все-таки не могло бы выйти державного права.

Мы исследуем, могут ли, не нарушая общественного соглашения, стоящие во главе народа лица, под каким бы то ни было именем избранные, быть чем-либо иным, а не слугами народа, которым этот последний приказывает следить за исполнением законов; не должны ли эти начальники отдавать ему отчет в своих распоряжениях и не подчинены ли сами они тем законам, наблюдение за которыми на них возложено.

Если народ не может отчуждать своего верховного права, то не может ли он на время вверить его кому-нибудь? Если он не может создать себе повелителя, то нельзя ли ему создать себе представителей? Вопрос этот важен и заслуживает обсуждения.

Если народ не будет иметь ни верховного правителя, ни представителей, то следует рассмотреть, каким образом он может сам себе давать законы. Должен ли он иметь много законов? Часто ли должен изменять их? Легко ли большому народу быть своим собственным законодателем?

Не был ли и римский народ большим народом?

Хорошо ли то, что существуют большие народы?

Из предыдущих соображений вытекает, что в государстве есть тело, посредствующее между подданными и державною властью, и на это посредствующее тело возложено общественное управление, исполнение законов и поддержание гражданской и политической свободы.

Члены этого тела называются *магистратами* или *королями*, т. е. управителями. Целое тело, если иметь в виду людей, его составляющих, обозначается словом *государь*, а рассматриваемое со стороны действий называется *правительством*.

Рассматривая действие целого тела, действующего относительно себя самого, т. е. отношение целого к целому, или державной власти к государству, мы можем сравнить это отношение с отношением крайних членов непрерывной пропорции, средним членом которой будет правительство. Управитель получает от державной власти приказания, которые передает народу; и, при прочих равных условиях, сила и власть его проявляется в той же степени, как сила и власть граждан, которые, с одной стороны, суть подданные, а с другой — носители державной власти. Как только переменяется

который-нибудь из трех членов, сейчас же нарушается и пропорция. Если державная власть хочет управлять, если государь хочет давать законы, или подданный отказывается повиноваться, правильный ход сейчас же заменяется беспорядком, и разложившееся государство впадает в деспотизм или в анархию.

Предположим, что государство состоит из 10 000 граждан. Державная власть может быть рассматриваема лишь коллективно, как нечто совокупное; но каждое частное лицо имеет, как подданный, индивидуальное и независимое существование. Таким образом, державная власть относится к подданному, как 10 000 : 1, т. е. на долю каждого члена государства приходится лишь $\frac{1}{10\,000}$ часть верховной власти, хотя подчинен он ей всецело. Предположим теперь, что народ состоит из 100 000 особей. Положение подданных не изменяется, и каждый по-прежнему несет на себе все владычество законов, меж тем голос его, сведенный до $\frac{1}{100\,000}$ целого, в десять раз уже меньше оказывает влияния на издание этих законов. Таким образом, подданный по-прежнему остается одним, а геометрическое отношение между ним и державной властью все увеличивается, сообразно с числом граждан. Отсюда вытекает, что с увеличением государства свобода уменьшается.

А чем меньше частные воли сходятся со всеобщей волей, т. е. нравы с законами, тем большей должна быть сила обуздывающая. С другой стороны, так как обширность государства представляет носителям общенародной власти больше искушений и средств злоупотреблять ею, то, чем больше силы у правительства для обуздания народа, тем больше силы должна иметь, в свою очередь, и державная власть для обуздания правительства.

Из этого двойного соотношения следует, что, представленная в виде непрерывной пропорции, зависимость между державной властью, правителем и народом не есть произвольная идея, но вытекает из самой природы государства. Кроме того, отсюда следует, что если один из крайних членов, именно народ, остается без изменения, то всякий раз, как удвоенное отношение увеличивается или уменьшается, простое отношение тоже, в свою очередь, увеличивается или уменьшается, а для этого необходимо, чтобы средний член изменился во столько же раз. Из этого мы можем вывести заключение, что нет единственной и абсолютной формы правительства, но должно быть столько и различных по природе правительств, сколько есть различных величин для государств.

Если чем многочисленнее народ, тем менее нравы его соответ-

ствуют законам, то исследуем, нельзя ли также сказать, по довольно очевидной аналогии, что, чем многочисленнее чиновники, тем слабее правительство.

Чтобы выяснить это правило, мы будем различать в личности каждого магистрата три воли, существенно различных: во-первых, собственную волю индивида, стремящуюся лишь к своей частной выгоде; во-вторых, общую волю магистратов, направленную единственно на пользу государя, — волю, которую можно назвать корпоративной волей и которая бывает всеобщей по отношению к правительству и частной для государства, по отношению к которому правительство есть часть; в-третьих, волю народную, или державную, которая бывает общей как по отношению к государству, взятому в смысле целого, так и по отношению к правительству, которое рассматривается как часть целого. В совершенном законодательстве частная и индивидуальная воля должна не иметь никакого почти значения; корпоративная воля, свойственная правительству, должна быть вполне подчиненной; следовательно, всеобщая и державная воля есть регулятор для всех остальных. По естественному же порядку, наоборот, по мере сосредоточения эти различные воли делаются более активными; всеобщая воля всегда бывает наиболее слабой, корпоративная воля занимает второе место, а воля частная предпочитается всему, так что каждый человек прежде всего бывает самим собою, затем магистратом и потом уже гражданином; градация эта прямо противоположна той, которая требуется для общественного порядка.

Установив это, предположим теперь, что правительство находится в руках одного только человека. Частная воля и корпоративная воля оказываются совершенно соединенными; а следовательно, воля достигает здесь высшей степени интенсивности, какой только может. А так как от этой степени и зависит применение силы, ввиду того что абсолютная сила правительства, будучи всегда тождественной с силою народа, не изменяется, то отсюда следует, что наиболее активным из правительств будет управление одного.

И наоборот, соединим правительство с верховной властью, представим державную власть в лице государя, а граждан сделаем магистратами: в этом случае корпоративная воля, совершенно слившись с всеобщей волей, проявит не больше деятельности, чем эта последняя, а частную волю оставит во всей ее силе. Таким образом, правительство, оставаясь постоянно при одной и той же абсолютной силе, будет в наименьшей степени деятельным.

Правила эти неоспоримы; для подтверждения их служат и другие соображения. Мы видим, например, что магистраты более активны

в сфере своей корпорации, чем граждане в своей сфере, и что, следовательно, частная воля там имеет гораздо больше влияния. Ибо на каждого магистрата почти всегда возложена какая-нибудь особая функция в управлении, тогда как каждый гражданин, взятый в отдельности, не несет на себе никакой функции державной власти. Кроме того, чем больше расширяется государство, тем более увеличивается его действительная сила, хотя она увеличивается и не пропорционально его расширению; но если государство остается одинаковым, то, как бы ни умножались магистраты, правительство не приобретает этим большей действительной силы, потому что оно есть носитель силы государства, которую мы предполагаем все время ровною. Таким образом, вследствие этой многочисленности активность правительства уменьшается, а сила его не может увеличиваться.

Нашедши, что правительство ослабляется по мере умножения магистратов и что, чем народ многочисленнее, тем большей должна быть обуздывающая сила правительства, мы выведем отсюда заключение, что отношение магистратов к правительству должно быть обратным по сравнению с отношением подданных к державной власти, т. е., чем больше увеличивается государство, тем более должно сжаться правительство, так чтобы число начальников уменьшалось с увеличением населения.

Затем, чтобы обозначить все это разнообразие форм более точными наименованиями, мы отметим прежде всего, что державная власть может верить бразды правления всему народу или наибольшей части народа, так что граждан-магистратов бывает больше, чем простых граждан и частных лиц. Эту форму правительства называют демократией.

Или же управление можно сосредоточить в руках меньшего числа лиц, так что простых граждан будет больше, чем магистратов; эта форма носит название аристократии.

Наконец, можно концентрировать все управление в руках единственного магистрата. Эта третья форма наиболее обычна и называется монархией или королевским правительством.

Мы отметим, что все эти формы или по крайней мере две первые допускают постепенность и даже дают довольно много простора. Ибо демократия может обнимать весь народ или сузиться даже до половины. Аристократия, в свою очередь, может начиная от половины народа неопределенно сузиться до самого небольшого числа. Даже царская власть допускает иной раз раздел — между отцом, например, и сыном, между двумя братьями или как-нибудь иначе. В Спарте всегда было два царя, а в Римской империи раз было до

восемью императоров сразу, и все-таки нельзя было сказать, что империя разделилась. Есть пункт, где каждая форма правительства смешивается со следующей; нося одно из этих трех специальных названий, правительство в действительности может принять столько же форм, сколько в государстве граждан.

Даже больше того: так как каждое из правительств может в известных отношениях подразделяться на разнородные части, управляемые одна одним манером, другая — другим, то из комбинации этих трех форм может получиться множество смешанных форм, из которых каждая может подразделяться на всякого рода простые.

Во все времена много рассуждали о лучшей форме правительства, не принимая того в расчет, что каждая в известных случаях бывает наилучшею и в других случаях наихудшею. Мы же, раз число магистратов в различных государствах должно быть обратно пропорционально числу граждан *, должны вывести заключение, что демократическое правительство пригодно вообще для малых государств, аристократическое для средних и монархия для больших.

Эта нить изысканий доведет нас, наконец, до решения вопросов. каковы обязанности и права граждан, можно ли их отделять одни от других, что такое отечество, в чем именно оно заключается и почему каждый может распознать, имеет ли он отечество или не имеет его.

Рассмотрев таким образом каждый вид гражданского общества, взятый сам по себе, мы станем сравнивать эти общества и наблюдать их в различных соотношениях; мы увидим, что одни из них велики, другие малы; увидим, как они нападают друг на друга, обижают, разрушают друг друга и в этом непрерывном действии и противодействии создают больше несчастных и тратят больше человеческих жизней, чем в том случае, если бы все люди сохраняли свою первоначальную свободу. Мы исследуем, не слишком ли много допущено недочетов в общественном устройстве, и, в то время как общества берегут друг от друга свою естественную независимость, отдельные лица, подчиненные и законам и людям, не остаются ли подверженными бедствиям того и другого государства, не участвуя в их выгодах? Если б в мире не было никаких гражданских обществ, не лучше ли было бы, чем теперь, когда их много? Не есть ли это своего рода «смешанное государство», если участвуешь в двух и не обеспечен ни в одном, если невозможно ни то, ни другое; *per quem neutrum licet*,

* Нужно помнить, что я разумею здесь лишь высших магистратов или людей, стоящих во главе нации, так как прочие бывают лишь заместителями их по той или другой части.

nec tanquam in bello paratum esse, nec tanquam in pace securum? ⁶³ Не эта ли партийная и несовершенная ассоциация производит тиранию и войну? А тирания и война не являются ли самыми страшными бичами человечества?

Наконец, мы рассмотрим средства, предлагаемые для борьбы с этим злом, — лиги и конференции, которые, предоставляя каждому государству внутри полную свободу, извне дают ему оружие против всякого несправедливого посягательства. Мы постараемся узнать, как можно установить целесообразную федеративную ассоциацию, от чего зависит ее прочность и на какую область можно распространять право конфедерации, не вредя правам державной власти.

Аббат Сен-Пьер предлагал ассоциацию из всех государств Европы для поддержания между ними вечного мира ⁶⁴. Осуществима ли эта ассоциация, и, если она установится, можно ли думать, что она будет прочною? * Путем этих изысканий мы прямо подойдем ко всем вопросам общественного права, которые могут окончательно осветить нам вопрос о политическом праве.

Наконец, мы установим истинные принципы права войны и посмотрим, почему Гроций и другие дали нам лишь ложные принципы.

Я был бы очень удивлен, если бы среди всех этих рассуждений юноша мой, как человек одаренный здравым смыслом, не прервал меня восклицанием: «Подумаешь, что мы строим свое здание из дерева, а не с людьми имеем дело, с такою точностью мы пригоняем каждый кусок по линейке!» — «Это правда, друг мой; но не забывай, что право не подгоняется к людским страстям и что ведь вопрос у нас шел о том, чтобы прежде всего установить истинные принципы политического права. А теперь, когда фундамент у нас заложен, отправляйся и посмотри, что такое люди на нем выстроили, — ты увидишь прекрасные вещи».

Затем я заставляю его читать «Телемака» и продолжать его путь; мы ищем счастливого Салента и доброго Идоменея, ставшего мудрым благодаря несчастьям. Совершая путь, мы встречаем много Протезилаев и ни одного Филоклеса. Адраста, царя данайцев, тоже нетрудно было встретить ⁶⁵. Но предоставим, впрочем, читателям вообразить себе наше путешествие или за нас совершить его с «Телемаком» в руке; а мы не станем им внушать неприятных сопоставлений, которых сам автор избегает или если делает, то помимо воли.

* Уже после того, как я написал это, доводы в пользу этого плана были изложены в извлечении из проекта; доводы же противные, по крайней мере те, которые показались мне основательными, будут изложены в собрании моих сочинений ⁶⁵, вслед за этим самым извлечением.

Впрочем, так как Эмиль не царь и я не бог, то мы не будем мучиться тем, что не в силах подражать Телемаку и Ментору в благодеяниях, расточаемых ими людям: никто лучше нас не умеет держаться своего места, никто меньше нас не желает его покидать. Мы знаем, что одна и та же задача дана всем, что, кто от всего своего сердца любит добро и делает его, насколько хватает сил, тот выполнил эту задачу. Мы знаем, что Телемак и Ментор — выдумки. Эмиль путешествует не как праздный лентяй и делает больше добра, чем если б был принцем. Будь мы королями, мы не больше сумели бы сделать добра. Будь мы благодетельными королями, мы, сами того не зная, причиняли бы тысячу действительных зол вместо одного доброго дела, которое думали бы сделать. Будь мы королями и мудрецами, первым добром, которое мы захотели бы сделать себе и другим, было бы отречение от королевской власти с целью снова стать тем, что мы есть.

Я говорил, почему путешествия оказываются для всех бесплодными. Еще бесплоднее они делаются для юношества, благодаря тому способу, каким совершаются. Воспитатели, занятые больше своими удовольствиями, чем образованием своих питомцев, только и делают, что возят их из города в город, из дворца во дворец, из гостиной в гостиную; или если они люди ученые и близкие к литературе, то заставляют их проводить все время в беганье по библиотекам, посещении антиквариев, перелистывании старинных памятников, списывании старинных надписей. В каждой стране они заняты иным веком, — а это все равно, что заниматься иною страной, — так что, проехав с большими издержками Европу, среди пустых забав и скуки, они возвращаются, не увидав ничего такого, что может их интересовать, не узнав того, что могло бы им быть полезным.

Все столицы похожи одна на другую: все народы тут смешиваются, все нравы сливаются; не сюда следует идти изучать нации. Париж и Лондон — на мой взгляд — один и тот же город. У жителей их некоторые предрассудки различны, но предрассудков этих у одних не меньше, чем у других, а все правила общежития одинаковы. Всякий знает, какого сорта люди должны собираться при дворах. Всякий знает, какие нравы всюду должны породить скопление населения и неравенство состояний. Как скоро мне говорят о городе, где считается двести тысяч душ, я уже наперед знаю, как там живут. Из-за того, что я мог бы узнать сверх этого, на месте, не стоит туда отправляться.

В отдаленных провинциях, где меньше движения, сношений, где меньше путешествует иностранцев, где жители реже перемещаются, реже меняют состояние и положение, — вот где нужно изучать дух

и права наций. Взгляните мимоходом на столицу, но наблюдать страну отправляйтесь дальше. Французы не в Париже, они в Турени; англичане больше оказываются англичанами в Мерси, чем в Лондоне; испанцы скорее бывают испанцами в Галисии, чем в Мадриде. В этих именно дальних углах народ обнаруживает свой характер и выказывает себя таким, каков он есть, без всяких посторонних примесей; там именно хорошие и дурные стороны правительства наиболее чувствуются, подобно тому как и измерение дуг при наибольшем радиусе бывает более точным.

Необходимые соотношения между правами и правительством так хорошо изложены в книге «О духе законов»⁶⁷, что для изучения этих соотношений нет лучшего средства, как прибегнуть к этому именно сочинению. Но вообще есть два легко доступных и простых критерия для суждения об относительной доброкачественности правительств. Один критерий — это населенность. Всякий раз как население страны уменьшается, государство клонится к упадку; а страна наиболее населенная, — будь она самою бедною, — бесспорно, управляется лучше всего *.

Но для этого нужно, чтобы населенность эта была естественным последствием управления и нравственности; ибо, если она является вследствие колонизации или другими, случайными и временными путями, то врачеванием здесь только доказывается присутствие болезни. Когда Август издал законы против безбрачия⁶⁸, то законы эти уже указывали на упадок Римской империи. Нужно хорошим управлением располагать граждан к браку, а не принуждать к этому законами; нужно принимать в расчет не то, что делается насильственно, — ибо закон, который борется с естественными склонностями, обходится людьми и не достигает цели, — а то, что делается под влиянием нравов и благодаря естественному ходу управления, ибо только эти средства оказывают постоянное действие. Это было политикой доброго аббата Сен-Пьера — постоянно изыскивать мелкие средства против каждого частного зла вместо того, чтобы добраться до общего источника зла и посмотреть, нет ли средства исцелить их все разом. Дело не в том, чтобы отдельно лечить каждую язву, появляющуюся на теле больного; нужно очистить всю массу крови, производящей эти язвы. Говорят, что в Англии существуют призы за успехи по земледелию; этим для меня все сказано: это одно доказывает мне, что земледелие недолго в ней будет процветать.

Второй признак относительно доброкачественности управления и законов обусловлен тоже населением, но только в другом смысле, именно — распределением его, а не количеством. Два государства,

* Я знаю одно только исключение из этого правила; это — Китай.

равные по величине и числу жителей, могут быть совершенно неравны по силе, и наиболее могущественным из них всегда бывает то, жители которого наиболее ровно распределены по территории: государство, в котором нет таких больших городов, а следовательно, и меньше всего блеску, всегда пересилит другое. Большие именно города истощают государство и составляют его слабую сторону: богатство, ими производимое, есть богатство наружное и обманчивое; тут много денег и мало проку. Говорят, что город Париж сто́ит для французского короля целой провинции; я же думаю, что он ему дороже нескольких провинций, что Париж во многих отношениях живет за счет провинций и что большая часть их доходов собирается в этот город, да там и остается, не возвращаясь никогда ни к народу, ни к королю. Непонятно, как это в настоящий век вычислений не нашлось никого, кто определил бы, насколько Франция была бы могущественнее, если бы Париж был уничтожен. Дурное распределение населения не только невыгодно для государства, но разорительнее даже малой населенности, потому что последняя только не производит ничего; а неправильное расходование сил дает в результате величину отрицательную. Когда я слышу, как француз и англичанин, гордясь обширностью своих столиц, спорят, которая из них, Париж или Лондон, заключает больше жителей, мне так и кажется, что они спорят между собою о том, которому из двух народов принадлежит честь иметь наихудшее управление.

Изучайте народ вне городов — только таким путем вы его узнаете. Пустое дело — наблюдать внешнюю форму управления, щеголяющую великолепием администрации и болтовнею администраторов, если не изучаешь при этом внутреннего характера его по тому действию, какое производит оно на народ, и притом на всех ступенях администрации. Так как разница между формою и сущностью распределена по всем этим ступеням, то узнать ее можно не иначе, как изучая все их. В иной стране по проискам низших служащих и начинаешь только чувствовать дух министерства; в другой, для того чтобы судить о том, свободна ли нация, нужно видеть, как выбирают членов парламента; какую ни возьмем страну, невозможно человеку, видевшему лишь города, ознакомиться с управлением, потому что характер его никогда не бывает одинаков и в городе, и в деревне. А меж тем деревня и составляет страну, деревенское население и образует нацию.

Это изучение разных народов в их отдаленных провинциях, среди простоты их первобытного характера, приводит к общему заключению, благоприятному для моего эпиграфа и очень утешительному для человеческого сердца: выходит, что все нации, при таком

наблюдении, выказываются в лучшем свете, что, чем ближе они к природе, тем больше доброты в их характере; лишь запираясь в города, лишь изменяясь благодаря культуре, они развращаются и прежние недостатки, скорее грубые, чем вредные, превращают в пороки, приятные, но губительные.

Из этого наблюдения вытекает новое преимущество предлагаемого мною способа путешествовать: молодые люди, недолго оставаясь в больших городах, где царит страшная испорченность, менее подвержены опасности заразиться ею и, среди более простых людей, среди обществ, менее многочисленных, лучше сохраняют верное суждение, здоровый вкус, чистые нравы. Но, впрочем, моему Эмилю почти нечего бояться этой заразы: у него есть все для того, чтобы оградиться от нее. В числе других предосторожностей, принятых мною ради этого, я особенно рассчитываю на привязанность, живущую в его сердце.

Мы уже не знаем теперь, какое влияние может оказать истинная любовь на склонности молодых людей, потому что лица, ими руководящие, не лучше знакомые с нею, чем они сами, отвращают их от этой любви. Меж тем неизбежно, что молодой человек или любит, или бывает развратником. Легко морочить людей внешностью. Мне приведут в пример тысячу молодых людей, которые — скажут мне — ведут совершенно целомудренную жизнь и без любви; но пусть мне назовут зрелого человека, уже настоящего мужчину, который добросовестно мог бы сказать, что именно так провел свою юность. Во всех добродетелях, во всех обязанностях стремятся лишь соблюсти приличие; я же ищу действительности, и если для достижения ее существуют иные средства помимо тех, какие я предлагаю, то, значит, я обманулся.

Идея сделать Эмиля влюбленным, прежде чем начать с ним путешествие, не моего изобретения. Вот происшествие, внушившее мне ее.

Был я в Венеции с визитом у гувернера одного молодого англичанина. Дело было зимою; мы сидели у огня. Гувернер получает с почты письма. Он прочитывает их и затем одно из них перечитывает вслух своему воспитаннику. Оно было написано по-английски, и я ничего не понимал; но во время чтения я вижу, как молодой человек обрывает свои прекраснейшие вышивные манжеты и бросает их одна за другою в огонь, всячески стараясь, чтобы этого никто не заметил. Удивленный этим капризом, я смотрю ему в лицо и как будто вижу в нем волнение; но хотя страсти довольно сходны у всех людей, внешние признаки их имеют национальные отличия, в которых легко ошибиться. У разных народов язык ощущений столь же раз-

личен, как и тот, которым говорят. Я ожидаю конца чтения и затем, показывая гувернеру на голые запястья у его воспитанника, который меж тем из всех сил старался спрятать их, спрашиваю: «Нельзя ли узнать, что это значит?»

Гувернер, увидав происшедшее, покатывается со смеху и с довольным видом обнимает своего питомца; затем, получив с его стороны согласие, дает мне требуемое объяснение.

Манжеты, рассказывает он, только что изорванные Джоном, подарены недавно одною дамою здесь в городе. А нужно вам сказать, что Джон у себя на родине дал обещание одной молодой барышне, которую он очень любит и которая заслуживает еще большей любви. Письмо это — от матери его возлюбленной, и я вам сейчас переведу место, бывшее причиной того истребления, свидетелем которого вы были:

«Люси по-прежнему трудится над манжетами лорда Джона. Мисс Бетти Рольдгэм вчера провела с нею целые полдня и из всех сил старалась помочь ей в работе. Узнав, что Люси встала раньше обыкновенного, я захотела посмотреть, что она делает, и оказалось, что она занята переделкою того, что вчера сработала мисс Бетти. Она не хочет, чтобы на ее подарке хоть один шов был сделан другою рукой, а не ее собственною».

Джон минутой спустя вышел, чтобы надеть другие манжеты; а я и говорю воспитателю: «Превосходный нрав у вашего воспитанника! Но скажите мне по правде: письмо матери мисс Люси не есть ли просто подделка? Не сами ли вы придумали такое средство против дамы, подарившей манжеты?» — «О, нет, — возразил он, — все так и было. Я не такой искусник в деле; я старался вложить в него побольше простоты, усердия — и бог благословил мой труд».

Поступок этого молодого человека не вышел из моей памяти; он способен был породить кое-что в голове такого мечтателя, как я.

Пора окончить. Поведем лорда Джона назад к мисс Люси, т. е. Эмиля к Софи. Он возвращается к ней с таким же нежным сердцем, с каким уезжал, но с умом более просвещенным; он возвращается на родину с одним преимуществом: он узнал правительства по их порокам и народы по их добродетелям. Я даже позаботился, чтобы он заключил с каким-нибудь достойным человеком в каждой нации союз гостеприимства, по образцу древних, и не прочь от того, чтобы он поддерживал эти знакомства путем переписки. Помимо того что сношения с отдаленными странами могут быть полезными и всегда приятны, это является превосходною мерой против национальных предрассудков, которые, нападая на нас всю жизнь, рано или поздно берут над нами верх. Ничто так не помогает освободиться от этого

ига, как бескорыстные сношения с рассудительными людьми, которых уважаешь и которые, не имея этих предрассудков и противодействуя им своими собственными, дают нам средство постоянно противопоставлять одни предрассудки другим и таким образом предохранять себя от тех и других. Не все равно, имеешь ли сношения с иностранцами у себя дома или в их стране. В первом случае они всегда относятся к той стране, где живут, с чувством пощады, заставляющим их скрывать свои мысли или благоприятно о ней отзываться, пока живут в ней; по возвращении же к себе они делаются строже в суждениях и тут-то бывают справедливыми. Мне очень хотелось бы, чтобы иностранец, с которым я советуюсь, видел мою страну, но мнения о ней я спросил бы у него лишь в его собственной стране.

Употребив почти два года на странствования по некоторым большим государствам Европы и по множеству малых, изучив два-три главных языка, увидев все, что есть в них действительно замечательного, в отношении ли естественнoисторическом или в отношении управления, искусств, людей, Эмиль, пожираемый нетерпением, предупреждает меня, что назначенный нами срок приближается. Тогда я говорю ему: «Ну, друг мой! ты помнишь главную цель наших путешествий; ты обозревал, наблюдал; каков же, наконец, результат твоих наблюдений? На чем ты остановился?» Что-нибудь одно: или я обманулся в своей методе, или он должен ответить мне приблизительно так:

«На чем я остановился? Я решил оставаться таким, каким вы меня сделали, и добровольно не налагать на себя никакой новой цепи, кроме той, которую налагают на меня природа и законы. Чем больше я наблюдаю работу людей, в их учреждениях, тем яснее вижу, что из-за желания быть независимыми они делаются рабами и что самую свободу свою они тратят на бесплодные усилия упрочить ее. Чтобы не уступать потоку вещей, они создают себе тысячу привязанностей; а потом, как только вздумают сделать шаг, не могут тронуться — и удивлены, что ко всему привязаны. Чтобы сделаться свободным, для этого, мне кажется, ничего не нужно делать: достаточно нежелания расстаться со своею свободой. Это вы, учитель мой, сделали меня свободным, научив меня уступать необходимости. Пусть приходит она, когда ей угодно: я без сопротивления дам ей увлечь себя; а так как я не хочу бороться с нею, то я ни к чему и не привязываю себя с целью удержаться. Я искал в наших странствиях, нет ли где уголка земли, в котором я мог бы принадлежать абсолютно самому себе; но в каком месте среди людей можно не зависеть от страстей их? Исследовав все, я нашел, что самое мое жела-

ние заключало в себе противоречие; ибо, будь я не связан ничем другим, я по меньшей мере зависел бы от земли, на которой утвердился бы; жизнь моя была бы связана с этой землей, как дриады были связаны со своими деревьями; я нашел, что «обладание» и «свобода» — два несовместимых слова и что я мог бы быть господином своей хижины лишь в том случае, если б перестал быть своим собственным господином.

*Nos erat in votis modus agri non ita magnus*⁶⁹.

Я помню, что приняться за эти розыски побудило нас богатство мое. Вы доказывали весьма основательно, что я не мог бы сохранить одновременно и богатство, и свободу, но, когда вы желали, чтобы я одновременно и был свободен, и не имел нужд, вы желали двух несовместимых вещей; ибо стряхнуть с себя зависимость от людей я мог бы не иначе, как возвратившись под иго природы. Итак, что же мне делать с состоянием, которое оставили мне родители? Я прежде всего устрою так, чтобы не зависеть от него; я развяжу все узы, привязывающие меня к нему; если мне оставят его, оно останется у меня; если отнимут, меня не увлекут с ним. Я не стану мучиться с целью удержать его, но я останусь прочно на своем месте. Богатый или бедный, я буду свободен. Я буду свободен не только в такой-то стране, в таком-то краю — я буду свободен на всей земле. Для меня разбиты все цепи людского мнения; мне знакомы лишь цепи необходимости. Я научился носить их с самого рождения и стану носить их до смерти, ибо я — человек; да и почему я не сумел бы носить их, будучи свободным, если, будучи рабом, пришлось бы носить их еще больше, а вдобавок и цепи рабства?

Что мне за дело до моего положения на земле? какая важность в том, где я нахожусь? Всюду, где есть люди, я — между моими братьями; всюду, где нет их, я у себя дома. Пока я буду в состоянии оставаться независимым и богатым, у меня будут средства для прожития — и я буду жить. Если мое добро поработит меня, я без труда его брошу; у меня есть руки, чтобы работать, — и я проживу. Когда руки откажутся служить, я буду жить, если меня станут кормить, и умру, если меня покинут; ведь мне придется умереть, хотя бы даже меня не покидали; ибо смерть не бедствие, связанное с нищетой, но закон природы. В какое бы время ни пришла смерть, я не боюсь ее; она никогда не захватит меня приготовляющимся к жизни; она не мешает мне в том, что прожито.

Вот, отец мой, на чем я остановился. Если б я не имел страстей, я был бы, в своем звании человека, независим, как само Божество, так как, желая лишь того, что есть, я никогда не имел бы надобности бороться с судьбою. Как бы то ни было, меня связывает всего

одна цепь; это единственная, какую я буду когда-либо носить, и я могу этим гордиться. Идем же, дайте мне Софи — и я свободен».

«Дорогой Эмиль! мне очень приятно слышать из твоих уст речи, приличные мужу, и видеть в твоём сердце такого же рода чувства. Это чрезмерное бескорыстие в твои лета мне очень нравится. Оно уменьшится, когда у тебя будут дети, и тогда ты будешь тем именно, чем должен быть добрый отец семейства и разумный человек. Ещё до твоих путешествий я знал, каков будет результат их; я знал, что, присмотревшись ближе к нашим учреждениям, ты будешь очень далек от доверия к ним, которого они не заслуживают. Тщетно стремятся к свободе — под охраной законов. Законы! да где они есть? где они уважаемы? Всюду, как ты видел, под этим названием царит лишь частный интерес и людские страсти. Но вечные законы природы и мирового порядка существуют. Они для мудреца заменяют закон положительный; они начертаны в глубине его сердца совестью и разумом; им-то он и должен подчиняться, чтобы быть свободным; а раб лишь тот, кто поступает дурно, ибо он поступает так всегда помимо воли. Свобода — не в какой-либо форме правления, она в сердце свободного человека — он носит ее всюду с собою. Подлый человек всюду носит с собою рабство. Один был бы рабом в Женеве, а другой — свободным в Париже.

Если б я заговорил с тобою об обязанностях гражданина, ты, быть может, спросил бы у меня: «А где отечество?» — и подумал бы, что поставил меня в тупик. Ты, однако, ошибаешься, дорогой Эмиль: у кого нет отечества, у того ведь есть по крайней мере родина. В ней все-таки есть управление и подобие законов, под которыми он спокойно прожил. Пускай общественный договор не был соблюден, что за беда? ведь частный интерес оберегал его точно так же, как это делала бы и всеобщая воля, ведь общественное насилие предохранило его от насилий частных лиц, ведь виденное им зло заставило его полюбить то, что было доброго, ведь самые учреждения наши заставили его познать и возненавидеть их собственные несправедливости. О Эмиль! Где тот добродетельный человек, который ничем не обязан своей стране? Каков бы он ни был, он обязан ей уже тем, что всего драгоценнее для человека, — обязан нравственностью своих действий и любовью к добродетели. Родись он в глуши лесов, он жил бы счастливее и свободнее; но так как он без всякой борьбы следовал бы своим наклонностям, то он был бы добр без заслуг, он не был бы добродетелен, а теперь он умеет им быть, несмотря на свои страсти. Один уже внешний вид порядка побуждает познать его и полюбить. Общественное благо, для других служащее лишь предлогом, для него является действительным побуждением. Он науча-

ется бороться с собою, побеждать себя, свой интерес приносить в жертву общему интересу. Неправда, будто он не извлекает никакой пользы из законов: они дают ему мужество быть справедливым, даже среди злых. Неправда, будто они не сделали его свободным: они научили его властвовать над собою.

Не говори же: «Что мне за дело, где бы ни жить!» Для тебя важно жить там, где ты можешь выполнять все свои обязанности, а одной из этих обязанностей является привязанность к месту твоего рождения. Твои соотечественники берегли тебя ребенком; ты должен любить их, став взрослым. Ты должен жить среди них или по крайней мере в таком месте, где ты мог бы быть им полезным, насколько хочешь быть полезным, и где они могли бы найти тебя, когда будут нуждаться в тебе. Бывают такие обстоятельства, когда человек вне отечества может быть более полезен своим согражданам, чем тогда, если бы жил в его недрах. В таком случае он должен руководиться лишь своею ревностью и безропотно выносить изгнание; самое изгнание это является одной из его обязанностей. Но тебя, добрый Эмиль, ничто не заставляет приносить эти болезненные жертвы, ты не брал на себя грустной обязанности говорить людям правду, — ступай же, живи среди них, поддерживай дружбу их в приятном знакомстве с ними, будь их благодетелем, будь образцом для них: твой пример им больше послужит на пользу, чем все наши книги, и добро, которое ты будешь делать на их глазах, больше тронет их, чем все наши пустые речи.

Это не значит, чтоб я убеждал тебя жить в больших городах; напротив, к числу примеров, которые добрые должны подавать другим, относится и пример патриархальной и сельской жизни, первоначальной жизни человека, самой мирной, самой естественной и наиболее приятной для того, у кого сердце не испорчено. Счастлива, мой юный друг, страна, где нет нужды искать мира в пустыне! Но где такая страна? Добродетельный человек плохое находит удовлетворение своим склонностям среди городов, где ему приходится выказывать свое рвение почти только в пользу интриганов и плутов. Прием, встречаемый там лентяями, являющимися туда искать счастья, окончательно опустошает страну, которую, напротив, следовало бы населять из городов. Все люди, удаляющиеся от большого общества, полезны уже тем, что удаляются, потому что все его пороки происходят от его многочисленности. Они полезны и тогда, когда могут возродить в пустынных местах жизнь, культуру и любовь к первобытному состоянию. Я прихожу в умиление при мысли, сколько благодетелей могут распространять вокруг себя из своего скромного убежища Эмиль и Софи, насколько они могут оживить

деревню и раздуть потухшее рвение несчастного поселяннина. Мне так и кажется, что я вижу, как растет население, как поля делаются плодородными, земля облекается в новый наряд, многолюдство и изобилие превращает труды в праздник, как крики веселья и благословения слышатся среди сельских игр вокруг милой парочки, придавшей им оживление. Золотой век считают химерой; он и будет всегда химерой для всякого, у кого сердце и вкус испорчены. Неправда даже, будто о нем сожалеют, потому что сожаления эти всегда напрасны. Что же следует делать, чтобы возродить его? Одну вещь, но вещь возможную: нужно полюбить его.

Он уже как бы возрождается вокруг жилища Софи, вам остается лишь сообща закончить то, что начато ее достойными родителями. Но пусть эта столь сладкая жизнь не отвращает тебя, дорогой Эмиль, от трудных обязанностей, если когда-либо они будут возложены на тебя; помни, что римляне переходили от плуга к консульству. Если государь или государство призывает тебя на службу отечеству, покинь все, чтобы выполнить на предназначенном тебе месте почетную обязанность гражданина. Если эта должность тягостна для тебя, есть честное и надежное средство освободиться от нее: стоит лишь выполнять ее с таким бескорыстием, чтобы тебя надолго не оставляли в ней. Впрочем, не бойся неприятностей, сопряженных с подобной должностью: пока не переведутся люди настоящего века, не тебя будут звать на государственную службу».

Как жаль, что мне нельзя описать возвращение Эмиля к Софи и конец их поры любви, или, скорее, начало супружеской любви, их соединившей, — любви, основанной на уважении, которое длится всю жизнь, на добродетелях, которые не исчезают вместе с красотой, на сходстве характеров, которое делает отношения любовными и до самой старости продолжает упоение первых дней брака! Но все эти подробности, хотя могли бы нравиться, не были бы полезными; а до сих пор я позволял себе останавливаться лишь на таких приятных подробностях, пользу которых видел. Стану ли я нарушать это правило теперь при окончании моей задачи? Нет; к тому же я хорошо чувствую, что перо мое утомилось. Будучи слишком слабым для трудов, требующих такого продолжительного напряжения, я бросил бы и этот труд, если б он не был так близок к концу; чтобы не оставлять его недоделанным, пора закончить.

Наконец, я доживаю до самого очаровательного из дней в жизни Эмиля и самого счастливого из моих: я вижу, как увенчаны мои заботы, и начинаю вкушать плод их. Достойная пара соединяется неразрывными узами; уста их произносят и сердца подтверждают клятвы, которые не будут напрасными: они становятся супругами.

Когда они возвращаются из храма, их приходится вести: она не знает, где они, куда идут, что вокруг них делается. Они ничего не слышат, отвечают лишь бессвязными словами; их смущенные взоры ничего уже не видят. О, бред любви! О, человеческая слабость! Чувство счастья раздавливает человека; он не настолько силен, чтобы его выносить.

Очень немногие люди умеют принять в день свадьбы приличный тон в обращении с новобрачными. Угрюмая пристойность одних и легкомысленные речи других одинаково мне кажутся неуместными. Лучше было бы дать этим юным сердцам возможность собраться с чувствами и отдаться волнению, которое не лишено прелести, чем так жестоко отвлекать их от этого, наводя скуку лживым приличием или смущая их плохими шутками, которые, даже если б нравились во всякое другое время, в этот день, без всякого сомнения, нестерпимы для них.

Я вижу, что мои молодые люди, в сладкой истоме, их волнующей, не слышат ни одной из обращенных к ним речей. Я, желающий, чтобы люди наслаждались каждым днем жизни,— дам ли я им потерять столь драгоценный день? Нет; я хочу, чтобы они вкушали его прелесть, чтобы насладились им, чтобы он был для них днем сладострастного упоения. Я вырываю их из докучливой толпы, осаждающей их, веду их прогуляться в уединенное место и привожу их в себя разговором о них же самих. Я хочу, чтобы речи мои шли не только к их ушам, но и к сердцам; а я хорошо знаю, какой единственный предмет может занимать их в этот день.

«Дети мои,— говорю я им, взяв их за руки,— три года тому назад я увидел зарождение этого живого и чистого пламени, составляющего теперь ваше счастье. Оно беспрестанно увеличивалось; я вижу в ваших взорах, что оно достигло высшей степени своей силы; после этого оно может уже только ослабевать». Читатели! неужели вы не видите восторгов, порывов, клятв. Эмиля, негодующего вида, с каким Софи освобождает свою руку из моей, и читаемых во взоре их нежных обещаний обожать друг друга до последнего вздоха? Я даю им высказаться и затем продолжаю.

«Часто я думал, что, если б можно было продолжить в супружестве счастье любви, мы имели бы на земле рай. До сих пор этого не видано. Но если это не совершенно невозможно, то вы вполне достойны подать пример, которого никто вам не подаст и которому последовать сумеют немногие супруги. Хотите ли, дети мои, чтобы я указал вам средство, которое я для этого придумал и которое считаю единственно возможным?»

Они переглядываются с улыбкой и смеются над моей простотой.

Эмиль коротко благодарит меня за рецепт, говоря, что Софи, по его мнению, обладает лучшим, что ему достаточно и этого. Софи одобряет и, по-видимому, проникнута такою же верой. Однако сквозь насмешливый вид ее я различаю и некоторую долю любопытства. Я смотрю на Эмиля; он страстными взорами пожирает прелести своей супруги; это единственный предмет, занимающий его любопытство, и все мои речи ничуть не стесняют его. Я улыбаюсь в свою очередь, говоря сам себе: «Я скоро сумею сделать тебя внимательным».

Разница, почти неуловимая, между этими тайными движениями является очень характерным признаком для того и другого пола, противоречащим общепринятому предрассудку: мужчины вообще менее постоянны, чем женщины, и им скорее, чем последним, надоедает счастливая любовь. Женщина издали чувствует непостоянство мужчины, и оно беспокоит ее *; это же делает ее и более ревнивой. Когда он начинает охладевать, то, принужденная оказывать ему, с целью сберечь его, всю ту внимательность, какую он некогда выказывал ей с целью нравиться, она в свою очередь плачет, унижается — и редко с таким же успехом. Привязанность и заботливость привлекают сердца, но почти не раскрывают их. Я возвращаюсь к своему рецепту против охлаждения любви в супружестве.

«Он прост и легко применим, — говорю я, — стоит только, став супругами, оставаться по-прежнему и влюбленными». — «Действительно, — говорит Эмиль, смеясь над секретом, — это не будет для нас трудно».

«Для тебя труднее, чем, быть может, ты думаешь. Дайте мне — прошу вас — время объясниться».

Узы, которые хотят слишком затянуть, лопаются. Это именно и бывает с узами брака, когда их хотят затянуть крепче, чем должно быть. Верность, которую брак налагает на обоих супругов, есть священнейшее из всех прав; но власть, которую он дает каждому из них над другим, есть нечто излишнее. Принуждение и любовь плохо живут вместе, а удовольствия не закажешь. Не краснейте, Софи, и не думайте убежать. Боже сохрани, чтоб я желал оскорбить вашу стыдливость! Но дело идет об участии всех ваших дней. Ради такой

* Во Франции жены отдаляются первыми; это и должно быть, потому что, имея мало темперамента и добиваясь лишь поклонения, они, раз муж не воздаст его, мало уже заботятся о его личности. В других странах — наоборот: муж отделяется первым; это также естественно, потому что жены верные, но безрассудные, надоедая своими вожделениями, внушают, наконец, отвращение к себе. Эти общие истины могут допускать много исключений; но я уверен теперь, что это общие истины.

важной цели допустите же, при супруге и отце, речи, которых в ином случае вы не стерпели бы.

Пресыщает не столько обладание, сколько подчинение, и к содержанке сохраняют привязанность гораздо дольше, чем к жене. Каким это образом самые нежные ласки смогли превратить в обязанность, самое сладкое доказательство любви — в право? Взаимным желанием создается право: иного природа не знает. Закон может ограничить это право, но он не мог бы расширить его. Страсть так сладка сама по себе! Неужели из печального принуждения она должна черпать силу, которой не может почерпнуть из своей собственной привлекательности? Нет, дети мои: в браке сердца связаны, но тела не порабощены. Вы обязаны хранить верность, а не угодливость. Оба могут принадлежать лишь друг другу, но каждый из двух должен принадлежать другому лишь настолько, сколько ему угодно.

Итак, если правда, дорогой Эмиль, что ты хочешь быть возлюбленным своей жены, то пусть и она всегда будет твоей возлюбленной и своей собственной госпожой; будь влюбленным, счастливым, но почтительным; получай все во имя любви, ничего не требуя во имя долга, и пусть малейшая ласка будет всегда для тебя не правом, а милостью. Я знаю, что стыдливость избегает открытых признаний и хочет, чтобы ее побеждали; но разве при деликатности и истинной любви влюбленный обманется насчет тайных желаний? Разве он не знает, когда сердце и взор дозволяют то, в чем уста притворно отказывают? Пусть каждый из вас, всегда сам распоряжаясь своей особой и своими ласками, лишь тогда считает себя вправе расточать их другому, когда этот последний захочет. Помните всегда, что даже в браке удовольствие законно лишь тогда, когда желание разделяется. Не бойтесь, дети мои, что этот закон отделит вас друг от друга; наоборот, он заставит вас обоих больше заботиться о том, чтобы нравиться друг другу, и предупредит пресыщение. Так как вы будете принадлежать исключительно друг другу, то природа и любовь совершенно достаточно будут сближать вас».

При этих и других подобного рода речах Эмиль сердится, протестует; Софи, стыдясь, закрывает лицо веером и не говорит ни слова. Наиболее недовольным из них, пожалуй, оказывается не тот, кто больше жалуется. Я безжалостно настаиваю: я заставляю Эмиля краснеть за его неделикатность; я даю ручательство за Софи, что она со своей стороны принимает договор. Я вызываю ее на ответ; само собою разумеется, что она не осмеливается опровергать меня. Эмиль, обеспокоенный, ищет совета в очах своей юной супруги; сквозь смущение их он различает, что они полны страстной тревоги, и это придает ему уверенность. Он бросается к ее ногам, с восторгом целует

протянутую ему руку и клянется, что, помимо обещанной верности, он отказывается от всякого иного права на нее. — «Будь, — говорит он, — дорогая супруга, распорядительницею моих удовольствий, как ты распоряжаешься моею жизнью и участью. Если б жестокость твоя стоила мне даже жизни, я и тогда возвратил бы тебе самые дорогие свои права. Я не хочу быть в чем-либо обязанным твоей угодливости — я хочу все получить от твоего сердца».

Добрый Эмиль, успокойся! Софи сама настолько великодушна, что не даст тебе пасть жертвою твоего великодушия.

Вечером, собираясь расстаться с ними, я говорю им тоном, насколько можно было, серьезным: «Помните же оба, что вы свободны и что здесь не может быть речи о супружеских обязанностях; поверьте мне, тут неуместна лживая уступчивость. Эмиль, хочешь идти? Софи позволяет». От ярости Эмиль готов будет меня побить. А вы, Софи, что сказали бы на это? Не увести ли мне его? Лгунья, краснея, скажет: «да». Очаровательная и милая ложь, стоящая дороже истины!

На другое утро... Картина блаженства не пленяет уже людей: испорченность порока столь же развратила вкус их, как и сердца. Они не умеют уже чувствовать то, что трогательно, видеть то, что мило. Желая изобразить упоение страстью, вы ничего не можете придумать, кроме счастливых любовников, утопающих в пучине наслаждений, — но как далеки еще от совершенства ваши картины! Вы изображаете лишь половину наслаждений, наиболее грубую; самых сладостных прелестей здесь нет. О, кто из вас видел когда-либо двух юных супругов, под счастливыми предзнаменованиями вступивших в союз, в то время как они покидают брачное ложе и когда в их взорах, томных и целомудренных, сразу читаешь и упоение сладкими удовольствиями, только что испытанными, и милую беспечность невинности, и уверенность, пока столь очаровательную, что они проведут вместе остаток дней своих? Вот наиболее восхитительный предмет, какой только может представиться сердцу человеческому; вот истинная картина наслаждения: вы сто раз видели ее, не догадываясь о ней; ваши огрубевшие сердца уже не способны полюбить ее. Софи, счастливая и кроткая, проводит день в объятиях своей нежной матери — это очень сладкий отдых после ночи, проведенной в объятиях супруга.

На третий день я уже замечаю некоторую перемену в декорациях. Эмиль хочет казаться несколько недовольным; но сквозь это притворное недовольство я замечаю столь нежную услужливость и даже столько покорности, что не предвижу в этом ничего особенно прискорбного. Что касается Софи, она веселее, чем накануне; я вижу,

как в глазах ее светится самодовольство; она очаровательна в обращении с Эмилем; она почти кркетничает с ним, что еще более его раздражает.

Перемены эти мало заметны; но от меня они не ускользают; это беспокоит меня, я расспрашиваю Эмиля наедине; я узнаю, что, к великому его сожалению и несмотря на все его настойчивые просьбы, ему пришлось в прошедшую ночь спать отдельно. Властная супруга поспешила воспользоваться своим правом. Происходит объяснение: Эмиль горько жалуется, Софи забавляется; но, наконец, видя, что он готов и взаправду рассердиться, она бросает на него взор, полный кротости и любви, и, сжимая мне руку, произносит всего одно слово, но таким тоном, который так и просится в душу: «Неблагодарный!» Эмиль настолько одурел, что ничего тут не понимает. Я же понимаю это: я удаляю Эмиля и беседую, в свою очередь, наедине с Софи.

«Я вижу, — говорю я ей, — причину этого каприза. Трудно было бы проявить больше деликатности и более некстати употребить ее в дело. Дорогая Софи, будьте покойны! Я мужчину вам дал; не бойтесь принимать его за такового: вы получили первые всходы его юности; он ни перед кем не расточал любви, он надолго сохранит ее к вам.

Нужно, дорогое мое дитя, выяснить вам мои взгляды, высказанные два дня тому назад в беседе с вами обоими. Вы, быть может, увидели в них лишь искусство беречь удовольствия с целью сделать их продолжительными. О, Софи! Беседа имела иную цель, более достойную моих забот. Делаясь вашим супругом, Эмиль стал вашим главою; вам предстоит повиноваться — так захотела природа. Однако, когда женщина походит на Софи, хорошо, если она руководит мужчиною; это тоже закон природы; я для того и сделал вас распорядительницею его удовольствий, чтобы дать вам столько же власти над его сердцем, сколько его пол дает ему над вашею особою. Это будет стоить вам тяжелых лишений; но вы будете господствовать над ним, если сумеете господствовать над собою; а происшедшее показывает мне, что это трудное искусство не превышает вашего мужества. Вы долго будете господствовать путем любви, если сделаете свои ласки редкими и ценными, если сумеете заставить ценить их. Хотите видеть своего мужа постоянно у ног своих — держите его всегда на некотором расстоянии от своей особы. Но проявляйте в своей строгости скромность, а не каприз; пусть он видит вас сдержанною, а не своенравною: смотрите, чтобы, сберегая его любовь, вы не заставили его сомневаться в вашей любви. Сделайте так, чтобы он любил вас за ласки и уважал за отказы; пусть он почитает целомудрие своей жены, не жалуясь на ее холодность.

Таким-то образом, дитя мое, он будет питать к вам доверие, станет выслушивать ваши мнения, советоваться с вами в делах своих и не станет принимать никаких решений, не обсудив дела с вами. Таким-то путем вы будете в состоянии призывать его к благоразумию, когда он заблуждается, действовать на него кротким убеждением, быть любезною с целью принести пользу и употреблять кокетство в интересах добродетели и любовь на пользу разума.

При всем том не думайте, чтобы самое это искусство могло всегда вам служить. Каких предосторожностей вы ни принимали бы, пользование удовольствиями уменьшает их цену и цену любви прежде всех других. Но когда любовь долго длилась, сладкая привычка восполняет пустоту и привлекательность доверия заменяет восторги страсти. Дети образуют между теми, кто дал им бытие, связь не менее сладкую и часто более прочную, чем самая любовь. Когда вы перестанете быть возлюбленной Эмиля, вы будете его женою и подругою, вы будете матерью его детей. Тогда вместо вашей прежней сдержанности установите между собою самые интимные отношения; не нужно уже отдельных постелей, не нужно отказов, капризов. Настолько сделайте его половиной, чтобы он не мог уже обойтись без вас и чтобы он, лишь только расстанется с вами, чувствовал себя потерявшим связь с самим собою. Вы так хорошо сумели водворить прелести семейной жизни в родительском доме, — устройте же, чтобы они царили и в вашем. Всякий мужчина, которому приятно в своем доме, любит свою жену. Помните, что, если супруг ваш будет счастлив у себя в доме, вы будете счастливою женой.

Что касается настоящего, не будьте так строги с вашим возлюбленным; он заслуживает большей снисходительности; его обидели бы ваши опасения; не берегите так заботливо его здоровье в ущерб его счастью и наслаждайтесь своим. Не следует ждать отвращения или охлаждать желания; отказывать нужно не ради отказа, но чтобы придать цену тому, что дают».

Затем, позвав Эмиля, я говорю в ее присутствии юному супругу: «Мы должны выносить иго, наложенное на себя. Старайся заслужить, чтобы его сделали для тебя легким. И прежде всего будь любезен и не воображай, что, надувшись, ты становишься милее. Мир не трудно заключить, и каждый легко догадается — на каких условиях». Договор скрепляется поцелуем, после чего я говорю своему воспитаннику: «Дорогой Эмиль! человек всю жизнь нуждается в совете и руководстве. Я старался, сколько хватало сил, исполнять до сих пор эту обязанность по отношению к тебе: здесь кончается мой долгий труд и начинается труд другого. Сегодня я отказываюсь от

власти, которую ты мне вверил, — и вот кто отныне твой руководитель».

Мало-помалу первый бред утихает и позволяет им мирно наслаждаться прелестями своего нового положения. Счастливые влюбленные! Достойные супруги! Чтобы почтить их добродетели, чтобы изобразить их счастье, нужно было бы написать историю их жизни. Сколько раз, созерцая в них свое дело, я чувствовал себя охваченным восторгом, заставлявшим трепетать мое сердце! Сколько раз я соединял их руки в своих, благословляя Провидение и испуская глубокие вздохи! Какими поцелуями я осыпаю эти две руки, сжавшие одна другую! Какими потоками радостных слез я орошаю их! Они, в свою очередь, умиляются, разделяя мои восторги. Почтенные родители их еще раз переживают свою юность, глядя на детей своих, они начинают, так сказать, жить снова, в лице детей своих, или, лучше сказать, впервые познают цену жизни; они проклинаят свои прежние богатства, помешавшие им наслаждаться в том возрасте столь же прелестным жребием. Если на земле есть счастье, то надо искать его в том убежище, где живем мы.

Спустя несколько месяцев Эмиль входит раз утром в мою комнату и говорит, обнимая меня: «Наставник мой! поздравьте вашего питомца: он надеется иметь скоро честь быть отцом. О, какие заботы выпадут нам на долю и как часто мы будем нуждаться в вас! Боже сохрани, я уж не вручу вам воспитывать и сына, после того как вы воспитали отца. Не дай бог, чтобы обязанность, столь священная и приятная, исполнялась кем-нибудь другим, а не мною, — если бы даже мне удалось сделать для сына столь же счастливый выбор, какой сделали для меня! Но оставайтесь наставником юных наставников. Советуйте, руководите нами, мы будем послушны: пока я жив буду, я буду нуждаться в вас. Теперь, когда начинается отправление моих человеческих обязанностей, я нуждаюсь в вас больше, чем когда-либо. Вы исполнили свои обязанности: научите меня, как подражать вам, а вы отдохните — пора!»

Одно время он даже хотел полностью посвятить себя шахматной игре (см.: *Исповедь*, кн. 7, с. 252).

144. Данное выражение приписывается Аристиппу (V в. до н. э.) — древнегреческому философу. Аристипп произнес эти слова в ответ на упрек в связи с куртизанкой Лансой (см.: *Диоген Лаэртский*. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов, II, 75).
145. *Золотая середина* (лат.) (см.: *Гораций*. Оды, II, 10, 5).

Книга V

Эмиль вступает в ней по периодизации Руссо в «возраст счастья» (от 20—25 лет).

1. *Локк Д.* Мысли о воспитании, § 222.
2. *Юлия Старшая* — дочь римского императора Октавиана Августа.
3. Второзаконие, гл. XXII. «Второзаконие» — пятая книга «Пятикнижия» (составной части Библии).
4. *Фесний* — легендарный царь Беотии; был освобожден Геркулесом от геликонского льва, за что в благодарность посылал Геркулесу пятьдесят ночей подряд по одной из своих дочерей (см.: *Диодор*. Историческая библиотека, IV, 29).
5. Согласно мифу, за невольное убийство своего друга Ифрита Геркулес на три года продан был в рабство лидийской царице Омфале, которая одела его в женскую одежду и заставила вместе с женщинами прясть шерсть. Сама Омфала в это время носила принадлежавшие Геркулесу львиную шкуру и палицу.
6. Имеется в виду рассказ из библейской мифологии о Самсоне и его возлюбленной Далиле. В руки врагов Самсон попал в результате коварства Далилы, которая отрезала Самсону волосы, в которых таилась его сверхъестественная сила.
7. См.: *Платон*. Государство, кн. V.
8. *Фалбалой* пазывались сложенные в мелкие складки обшивки из кружев.
9. Античный миф гласит, что богиня Минерва отказалась играть на флейте из опасения, что во время игры будет выглядеть некрасиво.
10. *Фенелон* (1651—1715) — писатель и педагог в сочинении «О воспитании девиц» замечал: «Обратите внимание на большой недостаток нашего воспитания: приятное совершенно отделяют от неприятного; приятное допускают только в удовольствиях, а все неприятное вынадевает на долю учения. Что же остается делать после этого ребенку, как не ожидать с нетерпением конца этим занятиям и с жадностью стремиться к этим развлечением» (*Фенелон*. О воспитании девиц, гл. V).

11. *Апеллес* (IV в. до н. э.) — один из наиболее знаменитых живописцев Древней Греции.
12. *Дюша* — владелица модной лавки в Париже.
13. Имеется в виду Фенелон и его «Воспитание девиц».
14. Во второй половине XVIII в. во Франции при обучении чаще всего употреблялся «Исторический катехизис» (вплоть до конца XIX в.).
15. Речь идет о поэме швейцарского поэта С. Геснера (1730—1787) «Смерть Авеля».
16. «Много женщина знает искусств
Новых поклонников в сети ловить;
Не один для всех у ней жест и взгляд.
Женщина все, когда нужно, меняет» (*итал.*) — строки из поэмы «Освобожденный Иерусалим» итальянского поэта Торквато Тассо (1544—1595).
17. *Вергилий*. Буколики, III, 64—65.
См. «Буколик» Вергилия:
«Девушка резвая, яблоко бросив в меня, Галатея
В ветлы бежит, но жаждет, чтоб я ее раньше увидел».
18. «Потерявши целомудрие, женщина в другом уже не отказывает» (Тацит. «Истопись», IV, 3).
19. Нинон де Ланкло (1620—1705) собирала в своем салоне весь свет Парижа. Сведения и отзывы о Ланкло Руссо мог почерпнуть в книге Дюкло «Исповедание графа ***».
20. Речь идет о Лукреции, насилие над которой и ее самоубийство стали поводом для изгнания из Рима царя Тарквиния Гордого и его сына Секста, совершившего это насилие. События произошли в 509 г. до н. э. (см.: *Ливий Тит*. Римская история, кн. I, 58—60).
21. Речь идет о римлянке Лицинии, которая, как рассказывает Тит Ливий в «Римской истории», побудила плебеев добиваться права быть консулами. Такое право плебеи получили в 367 г. до н. э.
22. Речь идет о римлянке Вергинии. Стремясь овладеть юной Вергинией, децемвир Анний Клавдий объявляет ее рабой своего клиента. Чтобы спасти свою дочь от бесчестия, отец закалывает Вергинию. Как рассказывает Тит Ливий в «Римской истории», событие оказалось поводом к восстанию плебеев (449 до н. э.), в результате которого в Риме было покончено с господством децемвиров. Децемвиры — члены комиссии, состоявшие из десяти лиц, ведавшие урегулированием различных гражданских вопросов. В большинстве своем децемвирами были знатные римляне — патриции.
23. Речь идет о римских матронах, которые, как это сказано в «Римской истории» Тита Ливия, склонили Кориолана снять осаду с Рима. *Кориолан* (V в. до н. э.) — римский военный деятель, был изгнан из

Рима, после чего возглавил племена вольсков и осадил город.

24. «А под запретом она, хоть не грешит, а грешна» (лат.) (Овидий. Любовные элегии, IV, 4. Пер. С. Ширвинского).
25. *Де Бурдель де Брантом Пьер* (1540—1614) — автор «Жизнеописаний полководцев», где дана яркая картина нравов французского дворянства.
26. Имеется в виду возникшее в начале I в. в Александрии политико-философское направление, так называемое неопифагорейство. Оно возникло в результате острой потребности людей эпохи эллинизма в субъективном самоуглублении, приводившем, с одной стороны, к магическому мистицизму, а с другой — к использованию пифагорейского учения о числах.
27. «Тяжек гнев Пелида, не умеющего отступать» (лат.) (Гораций. Оды, 1, 6, 5). *Пелид* (Ахилл) — сын Пелея, герой «Илиады» Гомера.
28. Роман Фенелона «Приключения Телемака» критикует нравы французского дворянства рубежа XVII—XVIII вв. Герой романа Телемак вместе со своим наставником Ментором отправляется на поиски своего отца Одиссея. Во время этих поисков он встречается нимфу Эвхарис, которая полюбила его.
Роман пользовался во Франции необычайной популярностью.
29. Трактат Цицерона «Об обязанностях» посвящен, в частности, вопросам семьи и воспитания.
30. «Хочешь знать, почему не хочу вести тебя, Галла? Ты красноречива!» (лат.). (Строка из эпиграммы римского поэта Марка Валерия Марциала, 43—104).
31. *Баррем Франсуа* (1640—1703) — французский математик. Его учебные пособия «Исчисления» и «Арифметика» пользовались большой популярностью во Франции в XVII и XVIII вв.
32. *Фалес* (род. ок. 624 до н. э.) — древнегреческий философ, стихийный материалист.
33. *Добантон Луи* (1716—1749) — французский естествоиспытатель, сотрудничавший с Бюффеном.
34. *Филоктет* — герой Троянской войны, страдавший от укуса змеи.
35. «Не обнаруживает радости, хотя внутренне смеется» (итал.) — *Тассо Т.* Освобожденный Иерусалим, IV, 33.
36. Имеется в виду, очевидно, французский писатель Ла Мотт Удар (1672—1731). В «Рассуждении о Гомере» он подверг критике «Илиаду» и «Одиссею» с точки зрения изысканного вкуса дворянства XVIII в.
37. Франческо Альбани (1578—1660) — живописец Болонской школы, писал картины преимущественно на мифологические сюжеты.

38. *Мильтон* (1608—1674) — выдающийся английский писатель XVII в.
39. Намек на героя античного эпоса Геракла.
40. Речь идет об античной легенде о юноше Леандре и прекрасной жрице храма Афродиты Геро. Каждую ночь Леандр переплывал к своей любимой через Геллеспонт и погиб в волнах. Геллеспонт — древнегреческое название Дарданелл.
41. Эней — герой поэмы Вергилия «Энеида». Стал победителем в соревнованиях в беге.
42. Аталанта — героиня античного мифа. Прекрасно бегавшая, Аталанта поклялась стать женой лишь того мужчины, который победит ее в беге.
43. См. примеч. 5.
44. См.: *Гомер*. Одиссея, X. Сцена превращения Цирцеей спутников Одиссея в свиней запечатлена на одной из гравюр в первом издании «Эмиля».
45. Идеи, высказанные здесь, более обстоятельно изложены в трактате Руссо «Об общественном договоре» (гл. VIII).
46. «Зритель» («The Spectator») — популярный английский журнал. Французский перевод выпусков журнала за 1714—1726 г. издан был в Амстердаме до публикации «Эмиля».
47. *Лулий Раймунд* (1235—1315) — испанский теолог и поэт, изобретатель приспособления для возвещения истины.
48. *Люка Поль* (1664—1737) — французский путешественник, автор «Путешествия в Левант», «Путешествия в Грецию, Малую Азию, Македонию, Африку», «Путешествия в Турцию, Азию, Палестину, Верхний и Нижний Египет».
49. *Тавернье Жан-Батист* (1605—1689) — французский торговец и путешественник, автор «Путешествия в Турцию, Персию и Индию».
50. Имеется в виду «История» Геродота.
51. Имеется в виду сочинение римского историка Тацита «Германия».
52. Упоминаются племена, обитавшие в древности на территории Центральной Европы и Пиринейского полуострова.
53. *Ктезий (Ктесий)* (V в. до н. э.) — греческий историк и врач, автор трудов по истории древней Персии и Индии. Труды его дошли до нас в отрывках.
54. Имеется в виду граф де Жизор, убитый в 1758 г.
55. Согласно библейскому сказанию, Незавель разграбила виноградики бедняка Навуфея, находившийся по соседству с ее домом.

56. *Гроций Гуго (Гроциус)* (1583—1645) — голландский философ, теоретик естественного права и договорного происхождения государства. Наиболее известная его работа «Право войны и мира» издана была на французском языке.
57. *Монтескье Шарль Луи* (1689—1755) — французский философ и публицист, идеолог Просвещения. Наиболее известные его труды — «Персидские письма», «О величии и упадке римлян», «О духе законов». В авторе работы «О духе законов» (1748) педагогическая мысль Франции XVIII в. обрела своего родоначальника.
58. Немврод — по Библии основатель древнего Вавилона.
59. Речь идет о переделе земли и разделе движимого имущества, которые приписывают легендарному законодателю Спарты (Древняя Греция) Ликургу (см.: *Плутарх. Сравнительные жизнеописания: Ликург*, 8).
60. Имеется в виду так называемая сахтия (снятие бремени) законодателя Афин Солона (VI в. до н. э.), отменившего долговую кабалу и долги, сделанные под залог земли (см.: *Плутарх. Сравнительные жизнеописания: Солон*, 15).
61. Руссо имеет в виду свои «Политические институты», которые так и остались незавершенными.
62. Имеется в виду трактат «Об общественном договоре». На деле «Эмиль» появился на два месяца позже, чем «Об общественном договоре».
63. «Ни быть наготове, как на войне, ни быть безопасным, как среди мира» (*лат.*) (*Сенека. О спокойствии души*, I).
64. Речь идет о «Проекте вечного мира» (1713) аббата де Сен-Пьера (см. примеч. 31 к кн. I).
65. Руссо имеет в виду издание собрания своих сочинений, которое готовил парижский издатель Дюшен.
66. Имеются в виду персонажи «Приключений Телемака» Фенелона: Идомей — царь Крита, изгнанный с острова и затем основавший образцовое государство в Саленте, Протезилай — коварный интриган, Филоклес — поборник правды, Адраст — бесчестный и коварный государь.
67. См. примеч. 57.
68. Имеется в виду законодательство (18 до н. э.) римского императора Октавиана Августа, которым тот пытался укрепить расшатанные в течение гражданских войн семейные институты в Риме.
69. «Одно было в мыслях — иметь кусок поля, не очень большой» (*лат.*)» (*Гораций. Сатиры*, II, 6).